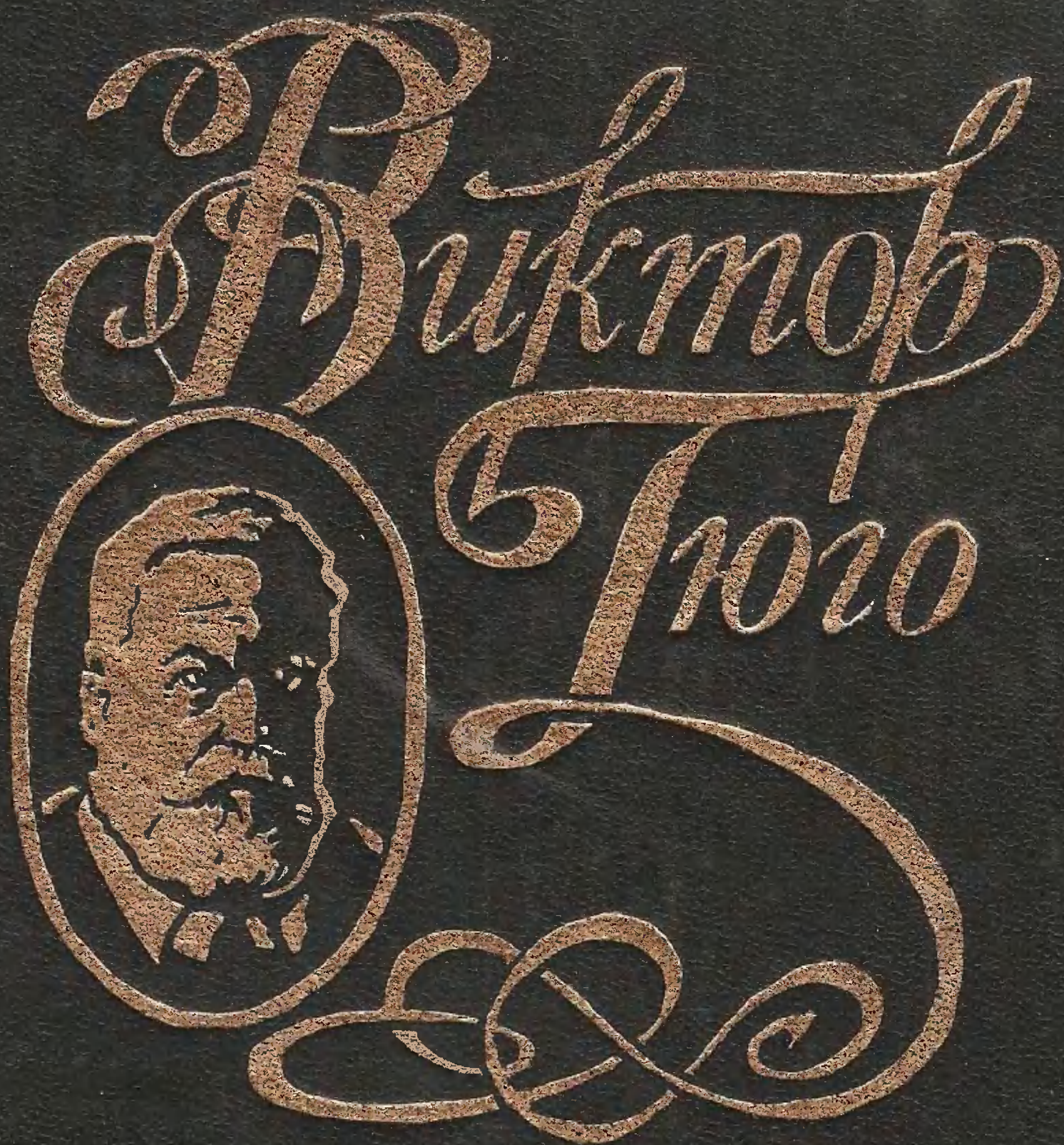
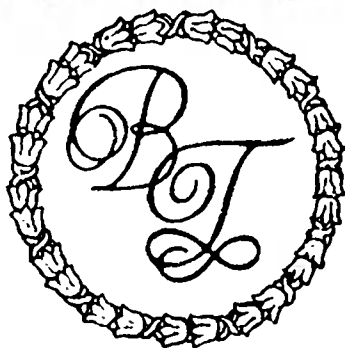
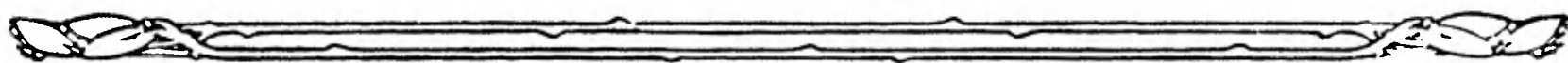




ОТВЕРЖЕННЫЕ







ВУКЛОФ БЮДО

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ
3

ОТВЕРЖЕННЫЕ

ТУЛА. ТОО «САНТАКС». 1993

И (Фр.)
Г 99

Оформление Н. Захарова

Иллюстрации И. Цыганкова

ISBN 5—87455—003—8

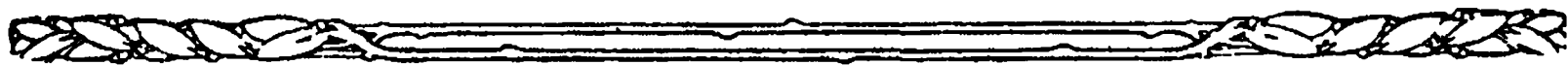
© Перевод. Коган Н., Эфрос Н.,
Локс К.
© Оформление. Захаров Н., Цы-
ганков И., ТОО «Сантакс», 1993



B. L.

ЧАСТЬ II
КОЗЕТТА





МАЛЫЙ ПИКПЮС

Глава первая

УЛИЦА ПИКПЮС, НОМЕР 62

Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего мрачного: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да слонявшийся по двору привратник. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представление о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, было мрачное место.

Порог встречал вас улыбкой; дом молился и стонал.

Если вам удавалось пройти мимо привратника, — что было отнюдь не просто, вернее почти для всех невозможно, ибо существовало некое «Сезам, откройся!», которое следовало знать, — итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо, в маленькие сенцы, откуда вела наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если Вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была за-

перта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенную светло-желтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за рулон. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна почти во всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шагов, ни звука голоса не слышите. Стены голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.

Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты — я бы даже сказал, почти петли, примерно дюйма полтора по диагонали. Зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не разлетаясь от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть или вылезти сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами — душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проводочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка.

Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.

— Кто там? — спрашивал голос.

Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.

Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновение тьма.

Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:

— Войдите направо.

Тогда вы замечали направо, против окна, дверь с застекленной верхней рамой, покрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали

точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скудным светом, льющимсквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и расстрепанной циновкой, — в настоящую ложу с высоким, по грудь, барьером, к которому была прибита сверху пластинка черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, но уродливой, грубо, кое-как сколоченной решетчатой рамой из железных брусьев, прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.

Несколько мгновений спустя, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Не не дольше как в шести дюймах за нею перед вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными перекладинами светло-коричневого цвета. То были складные ставни, состоявшие из длинных и тонких полос, закрывавших всю решетку. Они всегда были закрыты.

Спустя несколько минут за ставнями раздавался голос:

— Я здесь. Что вам угодно?

Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.

При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух превращался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее, рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Голова говорила с вами, но не смотрела на вас и не улыбалась.

Падавший из-за вашей спины свет был рассчитан на то, чтобы вы видели фигуру светлой, а она вас — темным. Освещение было символическим.

Ваш взор силился проникнуть сквозь отверстие. Плотная мгла окутывала фигуру в трауре. Ваши глаза стараются разглядеть во мгле, что окружает это видение. Но вскоре вы убеждаетесь, что разглядеть ничего нельзя. Вы видите ночь, пустоту, тьму, зимний туман, смешанный с испарениями, исходящими от могил; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего нельзя уловить, даже вдоха, мрак, в котором ничего нельзя различить, даже призрака.

Вы видите внутренность монастыря.

Это внутренность утрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Ложка, где вы находитесь, — приемная. Голос, который вы слышали, — голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной, возле квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с множеством отверстий.

В приемной было окно, выходившее на свет божий, а внутри монастыря ни одного окна не было, — вот почему в забранной решеткой ложе царил такой мрак. Взоры мирян не смели проникать в это священное место.

Однако по ту сторону мрака был свет; в смерти таилась жизнь. Хотя Малый Пикпюс был самым строгим из всех монастырей, мы постараемся проникнуть туда, поможем проникнуть туда и читателю и расскажем, не преступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видел, а потому и не мог рассказать.

Глава вторая

УСТАВ МАРТИНА ВЕРГА

Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок, соблюдавших устав Мартина Верга.

Следовательно, эти бернардинки принадлежали не к Клерво — как бернардинцы, но к Сито — как бенедиктинцы; иными словами, их покровителем был не святой Бернар, а святой Бенедикт.

Кто когда-либо перелистывал старые фолианты, тот знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей — в Алькала.

Конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.

Слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для латинской церкви. Только с одним орденом св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации с уставом Мартина Верга, еще четыре конгрегации: две в Италии — Монте-Кассино и св. Юстианы Падуанской; две во Франции — Кюни и Сен-Мор, и еще девять орденов — Валоамброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден

св. Сильвестра и, наконец, Сито; Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою отпрыск ордена св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Модемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгонял дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).

После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок-бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду и апостольник, который, согласно велению св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз, — вот их одежда. Все — черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет носят на поясе четки.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале нашего столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок-бенедиктинок Малого Пикпюса, о котором идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставах было множество различий; различна была и одежда. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы — белые; кроме того, у них на груди висело серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тамплъ неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно разными. Только в соблюдении одного этого правила и заключается сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличным один от другого и порою даже враждующим орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюль в Париже,

которые тем не менее сходятся в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Пресвятой девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом.

Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.

Бернардинки-бенедиктинки, соблюдающие этот устав, весь год едят постное, постом и в многие другие показанные им дни вообще воздерживаются от пищи, встают, прерывая первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать молитвенник и петь утрению. Весь год они спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моются, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого отдыха и в течение полугода — от 14 сентября, праздника Воздвиженья, и до Пасхи — носят рубашки из колючей шерстяной материи. Полгода — это послабление, по уставу их следует носить весь год; но шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Надо было ограничить ношение такой одежды. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно несколько дней лихорадит. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах — вот их обеты, отягченные к тому же уставом.

Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы — девять лет.

Монахини никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель стоит на амвоне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь — это архиепископ, стоящий во главе епархии.

Впрочем, еще садовник; но садовник — старик; чтобы он всегда был в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.

Монахини подчиняются настоятельнице, и подчинение

их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всей ее самоотреченности. Они повинуются, словно голосу Христа, *ut voci Christi*, жесту, малейшему знаку, *ad nutum, ad primum signum*, повинуются немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, *prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia*, словно подпилек в руке рабочего, *quasi limam in manibus fabri*, и не имеют право ни читать, ни писать, без особого разрешения — *legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia*.

Каждая из них совершает то, что называется *искуплением*. Искушение — это раскаяние во всех грехах, во всех ошибках, во всех провинностях, во всех насилиях, во всех несправедливостях, во всех преступлениях, совершаемых на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, крестообразно раскинув руки; это все, что она может себе позволить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом есть почти божественное величие.

Так как этот обряд исполняется у столба, на котором горит свеча, то в монастыре также часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении.

«Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если сзади ударит молния.

Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная монахиня. Стояние длится час. Монахини сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.

Настоятельницы и монахини носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.

Если на них смотришь, то видишь только их рот. У всех желтые зубы. Зубная щетка никогда не проникала в мона-

стырь. Чистить зубы — значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.

Они не говорят *моя* или *мой*. У них нет ничего своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют *наша*, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они скажут: «*наша рубашка*». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету: молитвеннику, святыне, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой одна знатная дама во время своего пострижения сказала: «Позвольте мне послать за Библией — ею я очень дорожу». — «А! Так вы чем-то дорожите? Тогда не идите к нам».

Всем монахиням воспрещается затворять свои двери, иметь *свой уголок, свою комнату*. Кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, она произносит: «Хвала и поклонение святым дарам престола!» Другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; часто одна отвечает «Во веки веков» еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение святым дарам престола», тем более что это довольно длинная фраза. У визитандинок входящая произносит: *Ave Maria*¹, а та, к кому входят, отвечает: *Gratia plena*². Это их приветствие, которое действительно «исполнено прелести».

Каждый час в монастырской церкви слышатся три удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и на всякий час хвала и поклонение святым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и на всякий час» и т. д., смотря по тому, какой час прозвонил колокол.

Этот обычай, преследующий цель прервать мысль и неустанно направлять ее к богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь форма. Так, например, в общине младенца Иисуса говорят: «В этот час и на всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»

¹ «Радуйся, Мария» (лат.) — первые слова католической молитвы.

² «Благодатная» (лат.) — буквально: исполненная благодати, прелести (продолжение той же молитвы).

Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественно, придерживаясь строгого монастырского распева, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Всюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на низких нотах, едва доступных женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.

Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.

Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожирар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.

По четвергам монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукой церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и в Италии. Часы стояния монахинь бесконечны. Что же касается количества и продолжительности молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее».

Раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Все монахини поочередно опускаются перед ними на колени на каменный пол и каются вслух в тех грехах, которые они совершили в течение недели. После исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.

Кроме исповеди вслух, во время которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый *повин* для малых прегрешений. Повиниться — значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Винятся во всяких пустяках: разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослу-

жению, сфальшивили, когда пели в церкви и т. д. Повин совершается добровольно, *повинница* (это слово здесь этимологически вполне оправдано) сама обвиняет себя и сама выбирает для себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре клирошанки поют псалмы перед большим аналоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то клирошанка при пении псалма, начинавшегося с *Esse*¹, громко взяла вместо *Esse* три ноты — *ut, si, sol*; за свою рассеянность она должна была приносить повин в продолжение всей службы. Грех ее усугубило то, что весь капитул рассмеялся.

Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден лишь ее рот.

Только настоятельница имеет право общаться с посторонними. Прочие могут видаться с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка кто-либо из посторонних выразит желание повидать монахиню, которую знавал или любил в миру, то ему приходится вести длительные переговоры. Если разрешение о свидании просит женщина, то его иногда дают; монахиня приходит, и посетительница беседует с ней через ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, мужчинам в подобной просьбе отказывают.

Таков устав св. Бенедикта, строгость которого еще усилил Мартин Верга.

Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом трое из них сошли с ума.

Глава третья

СТРОГОСТИ

В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда и четыре, пробыть белицей и четыре года послушницей. Редко кто принимает великий постриг ранее двадцати трех-двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.

В кельях они разнообразными и ведомыми им одним способами предаются умерщвлению плоти, о чем они никому не должны говорить.

¹ Сей (лат.).

В этот день, когда послушница принимает постриг, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и читают над ней отходную. Затем монахини становятся в два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликующе: «Жива во Иисусе Христе!».

В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы пансиона были в большинстве своем девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Талбот. Девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светскому кругу интересов. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я вся содрогалась». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение Святого духа из позолоченного серебра или меди. По большим праздникам, как, например, в день св. Марты, в знак особой милости они удостоивались величайшего счастья — облачаться в монашескую одежду, целый день выстаивать службы и совершать обряды по уставу св. Бенедикта. Вначале монахини давали им свои черные одежды. Однако настоятельница запретила давать одежду, сочтя это делом богопротивным. Это разрешалось только послушницам. Любопытно, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях влечение к монашеской жизни, доставляло воспитанницам истинное удовольствие и душевный отдых. *Это было ново, это их развлекало.* Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед аналоем, самозабвенно распевая псалмы, — величайшее блаженство.

Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Иные, по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем, не могли отвыкнуть от того, чтобы не произнести скороговоркой «Во веки веков!» всякий раз, когда стучались к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери, и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери. Воспитанница плакала, ей очень хотелось обнять свою сестрен-

ку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, отказано почти с негодованием.

Глава четвертая

ВЕСЕЛЬЕ

И все же девушки оставили о себе в этой суровой обители много прелестных воспоминаний.

В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад, выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, — все краски утренней зари расцветали во мраке. После псалмопений, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум нежнее гудения пчелок, — то шумели девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекотали прелестные белозубые ротки; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Крутом все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над трауром. Девочки резвились под присмотром монахинь — взор праведных не смущает невинных. Благодаря детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих детских игр. Нет ничего более очаровательного и ничего более величественного, чем зрелище свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Перро охотно пришли поохотать бы сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок — из эпопеи и из побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабушкой из старых сказок.

В этой обители, может быть, чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые заставляют нас задумчиво улыбаться.

Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетняя девочка воскликнула: «Матушка! Одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!»

Здесь же произошел следующий памятный разговор:

М а т ь - и з б о р щ и ц а. О чем ты плачешь, дитя мое?

Ш е с т и л е т н я я д е в о ч к а (рыдая). Я сказала Алисе, что знаю урок из истории Франции. А она говорит, что я не знаю, хотя я знаю!

А л и с а (девяти лет). Нет, не знает.

М а т ь - и з б о р щ и ц а. Как же так, дитя мое?

А л и с а. Она велела мне открыть книгу, где попало, и задать ей оттуда любой вопрос и сказала, что ответит на него.

— Ну и что же?

— И не ответила.

— Постой! А о чем ты ее спросила?

— Я открыла книгу, где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который мне попался на глаза.

— Какой же это был вопрос?

— Вот какой: *Что же произошло потом?*

Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:

«Ну не душка ли он? Склевывает верх тартинки, как человек!»

На одной из плит найдена была исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей:

«Отец мой, я грешна в скупости.

Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.

Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».

На дерновой скамейке розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех-пяти:

«Жили-были три петушка; в их стране росло много-много цветов. Они сорвали цветочки и спрятали в свои кармашки. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В той стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».

А вот другое произведение:

«Раз как ударят палкой!

Это Полишинель дал по голове кошке.

Ей было совсем не приятно, ей было больно.

Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».

Там же бездомная девочка-найденыш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнесла трогательные, ду-

шераздирающие слова. Она слышала, как другие девочки говорят о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:

«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»

В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно сновала по коридорам со связкой ключей. Звали ее сестра Агата. Старшие — то есть те, которым было больше десяти лет, — прозвали ее «Агата-ключ».

В трапезную, большую продолговатую четырехугольную комнату, свет проникал лишь из крытой, с резными арками галереи, приходившейся вровень с садом. Это была мрачная, сырая и, как говорили дети, полная зверей комната. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней, и его особенно чтили. Там было теплее. От трапезной прозвища перешли к пансиону; как некогда в коллеже Мазарини, их носили четыре землячества. Каждая воспитанница принадлежала к одному из четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу она сидела за трапезой. Однажды посетивший монастырь архиепископ заметил входившую в класс хорошенькую, румяную девочку с чудными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:

— Кто эта девочка?

— Это паук, ваше высокопреосвященство.

— Вот оно что! А вон та?

— Сверчок.

— А эта?

— Гусеница.

— Вот как! Ну, а ты?

— А я мокрица, ваше высокопреосвященство.

У каждого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия Экуан был одним из тех суровых и почти священных мест, где в уединении протекало детство пансионеров. В Экуане в День святых даров перед крестным ходом их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадильщицы»; первые несли кисти от балдахина, вторые кадили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торжественного дня нередко можно было слышать в спальне такой вопрос:

— А кто у нас дева?

Госпожа Кампан приводит следующие слова «младшей», семилетней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцатилетней, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла сзади: «Так ты же дева, а я нет».

Глава пятая

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое Отченаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай.

«Миленькое беленькое Отченаш, Господь его сотворил. Господь его говорил, Господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, Пресвятую Деву Марию посредине. Пресвятая Дева приказывала мне ложиться, ничего не страшиться. Отец мой — Господь, мать — Богородица, братья — три апостола, сестрицы — три святые девственницы. Сорочка младенца Христа тело мое прикрывает, Святой Маргариты крестик грудь мою осеняет. Идет госпожа наша Матерь Божия в поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. «Святой Иоанн, откуда идешь?» — «От *Ave Salus*¹ иду». — «А не видел ли ты милосердного Бога? Не там ли он?» — «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».

В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни изглаживается ее след и из памяти молодых девушек тех времен, ныне уже старух.

Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была неприхотливая, даже детей кормили скудно. Подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба — вот и все яства. Но и эти грубые дежурные блюда, предназначенные только для

¹ Вечерня (лат.).

пансионерок, составляли исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменявшейся еженедельно монахини, которая время от времени со стуком открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать. Тишина была приправлена чтением вслух житий святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе стояли муравленные миски, в которых воспитанницы сами мыли чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».

Девочка, нарушившая молчание, должна была сделать «крест языком». Где? На полу. Она лизала пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.

В монастыре хранилась книга, которую печатали только в одном экземпляре и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. *Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit*¹.

Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они с жадностью принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их захлопывать книгу и прерывать чтение. Эта чрезвычайно рискованная затея доставила им не очень большое удовольствие. Несколько туманных страниц «о грехах отроков» — вот что показалось им «самым интересным».

Они играли в аллее сада, обсаженной чахлыми фруктовыми деревьями. Несмотря на надзор и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер раскачивал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, — письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко старайся спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь лежа в кровати, а если это не удастся, то съедаешь

¹ Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним (лат.).

в ретираде». Это было одним из самых острых наслаждений воспитанниц.

Однажды, — произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом, — молодая девушка, мадемуазель Бушар, приходявшаяся сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него отпуск на один день, — поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадемуазель Бушар, к неописуемому ужасу товарок, вышла из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство! Отпустите меня на один день!» Мадемуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Де Келен улыбнулся. «Как, милое дитя, всего на один день? — спросил он. — На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла поделать, — ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами, каково было впечатление!

Однако утрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы приведем, рассказав его вкратце, одно истинное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное впечатление о монастыре.

Итак, приблизительно в то же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением и которую все величали «госпожа Альбертина». О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой денежные соображения, связанные с устройством блестящей партии.

Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взором. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она отличалась грацией призрака. Когда она появлялась, веяло холодом. Как-то видя, как она проскользнула мимо, одна мона-

хиня сказала другой: «Ее считают мертвой». — «А может, она и вправду мертвая», — ответила ей та.

О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно — «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению она находилась там в одиночестве, так как с хор, расположенных в верхней части храма, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, а монахиням это возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и епископ Безансонский, в Безансоне он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей спокойно и стояла не шевелясь. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и в полной тишине громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Все в изумлении повернули головы, проповедник поднял глаза, но г-жа Альбертина вновь впала в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.

Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был болтать в монастыре. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?»! Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было ясно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что она сама занимала высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что, возможно, она была его родственницей и, наверное, достаточно близкой, раз ей было известно его имя.

Две весьма суровые герцогини, де Шуазель и де Серан, часто посещали общину — они имели туда свободный доступ, по всей вероятности, в силу привилегии *Magnates mulieres*¹ и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старухи проходили мимо, то бедные девушки дрожали и опускали глаза.

¹ Знатных дам (лат.).

Герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, находясь в ожидании епископского сана, был назначен главным викарием при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в монастыре Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла видеть его сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и отлично причесан, что его великолепные каштановые волосы чудными завитками обрамляют его лоб, что подпоясан он дивным широким муаровым поясом и что его черная сутана — изящнейшего покроя. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.

Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее был год, когда до монастыря долетали звуки флейты. Это было настоящее событие, и тогдашние пансионеры до сих пор помнят о нем.

Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже почти забытую: «О Зетюльбе, приди царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день.

Девушки часами слушали эту арию, матери-изборницы впадали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны Прямой стены. Пансионеры отдали бы все, пошли бы на все, рискнули бы всем, лишь бы увидеть «молодого человека», наглядеться на того, кто так восхитительно играет на флейте и, сам того не ведая, играет на струнах их сердец. Нашлись воспитанницы, которые, проскользнув через черный ход, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на Прямую стену, увидеть хоть что-нибудь. Напрасно! Одна даже, подняв руку над головой, и просунув ее сквозь решетку, стала махать белым платком. Две оказались еще смелее. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели, наконец, «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.

МАЛЫЙ МОНАСТЫРЬ

В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый *малый монастырь*. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей старые монахини, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь инокинь, черных, серых и белых, разных орденов и разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь.

Со времен Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было приютиться здесь, под крылышком бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было причудливейшее смешение. Каждая гостя соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в виде развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили св. Василию, св. Схоластику и св. Якобу.

Одна из таких, пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале XVIII века то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена — белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который она охотно показывала, и завещала ее монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне остался один манекен.

Кроме этих досточтимых сестер, светские пожилые женщины вроде г-жи Альбертины тоже получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К их числу принадлежали г-жа де Бофор д'Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обитательница, известная только тем, что она необыкновенно громко сморкалась.

Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения поселиться в монастыре. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустршимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что ненавидит их, и притом она переживала тот период, когда ее обуяло

свиренное благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или через семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.

Покидая монастырь, она оставила память о себе в той келье, где она жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Эти два слова довольно точно рисуют ее портрет. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную внутри записочку со стихами, написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:

*Imparibus meritis pendent tria corpora ramis:
Dismas et Gesmas, media est divina potestas;
Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.
Nos et res nostras conservet summa potestas.
Hoc versus dicas, ne tu furto tua perdas¹.*

Эти вирши на латыни VI века вызывают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников — Димас и Гестас, как принято думать, или же Дисмас и Гесмас? Это правопписание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальеров твердо верит.

Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, как настоящий крепостной вал, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквях, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите, что зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных

¹ Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посередине царь небесный; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас — вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра (лат.).

скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо — воспитанницы, а в центре — послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Мало-го Пикпюса присутствовали при богослужениях. Темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда из сада. Во время служб, на которых, по уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.

Глава седьмая

СИЛУЭТЫ ВО МРАКЕ

В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадемуазель де Блемер, в монашестве — мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора *Жития святых ордена св. Бенедикта*. Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, за что ее все обожали.

Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Женщина образованная, начитанная, ученая, книжница, нашпигованная латынью, напичканная греческим, начиненная еврейским, своеобразный знаток истории, она была скорее бенедиктинцем, чем бенедиктинкой.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.

Наиболее уважаемыми среди матерей-изборщиц были: св. Гонория, казначея; св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые Ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; св. Жозеда (девица Коголлудо); св. Аделаида (деви-

ца д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуэнтес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенса), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

К числу самых красивых принадлежала прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру ее звали бы мадемуазель Роз, а в монастыре она получила имя — мать Вознесение.

Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионеров. Обычно она набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Из послушниц больше всего любили св. Ефразию, св. Маргариту, св. Марфу, впавшую в детство, и св. Михаилу — всех смешил ее длинный нос.

Эти женщины относились к детям кротко. Они были суровы только к себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. Сверх того — бесконечные попечения о них. Но если девочка, проходя мимо монахини, заговаривала с ней, монахиня никогда не отвечала.

Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучащий на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обительницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы — один и один удар; для ее помощницы — один и два. Шесть и пять ударов означали: «Время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре — звон для г-жи де Жанлис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», — говорили пансионерки, не отличавшиеся снисходительностью. Двенадцать ударов возвещали о важном событии: это означало, что распа-

хивалась настежь «монастырская дверь» — ужасная железная доска, вся ошетиленная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.

Кроме него и кроме садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионерки видели еще двух мужчин; один из них — священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой — учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасно старый горбун Ансьошка».

Отсюда явствуется, что мужчины были подобраны тщательно.

Такова была эта любопытная обитель.

Глава восьмая

POST CORDA LAPIDES¹.

Обрисовав внутренний облик монастыря, следует в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.

Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, прямой стены, Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омаре. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, представлял собою ряд строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка Прямой стены, который находился между Пикпюс и Полонсо; перекладину заменял высокий, строгий фасад за решеткой, выходящий на Пикпюс; ворота № 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; эти ворота отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служив-

¹ После сердец — о камнях (лат.).

шая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине — кухни, трапезная — филиал монастырской, и церковь. Между воротами под № 62 и углом тупика Омаре находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказались еще выше, чем с внешней. В середине сада возвышался холмик; на холмике росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от наверху щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы крест, положенный на колесо. Аллеи, примыкавшие к неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородиновые кусты. В глубине сада от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу Омаре, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте к этому двор, разные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо соседства, вместо перспективы — длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону Полонсо, — и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена на том месте, где с XIV и до XVI века находилось помещение со знаменитой залой для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже, названия — Прямая стена и Омаре — очень давние, улицы, носящие их, еще старше. Тупик Омаре назывался тупиком Могу; Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.

Глава девятая

СТО ЛЕТ ПОД АПОСТОЛЬНИКОМ

Теперь, когда мы познакомились с тем, что представлял собою монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно неболь-

шое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.

В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле, хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. То и дело произнося эти два имени, она испытывала чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала чудеса: будто оно похоже было на город и будто в монастырях были проложены улицы.

Она говорила на пикардийском наречии, и это очень забавляло воспитанниц. Каждый год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Святой Франциск передал свой обет святому Евсевию, святой Евсевий — святому Прокопию... и т. д., и т. д., а мой я передаю вам, святой отец». И воспитанницы смеялись исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, милым приглушенным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.

Иногда столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырех вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какая-нибудь знатная особа — маршал Франции, принц, герцог или пэр — проезжала через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил ее приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре сорта вина. На одном кубке красовалась надпись: «Обезьянье вино», на другом — «Львиное вино», на третьем — «Баранье вино», а на четвертом — «Свиное вино». Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая раздражает, третья оглушает, четвертая оскотинивает.

Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, — что также не было воспрещено уставом, — когда ей хотелось тайком полюбоваться этим предметом. Как только раздавались чьи-нибудь шаги в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на ка-

кую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, и она, обычно болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее упорство, самые настойчивые отступали перед ним. Разумеется, это давало пищу для пересудов праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что же это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, — предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Быть может, священная книга? Редкостные четки? Чудотворные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, монахини бросились к шкафу, пожалуй, быстрее, чем дозволяло приличие, и отперли его. Предмет был завернут в тройной полотняный покров, как освященный дискос. Это оказалось фаэнцское блюдо, на котором изображены были улетающие амур, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Сцена преследования изобиловала смешными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, очень интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.

Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», — говорила она.

Глава десятая

ПРОИСХОЖДЕНИЕ «НЕУСТАННОГО ПОКЛОНЕНИЯ»

Впрочем, эта почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, — явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, вместо четырех ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались картины — портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже голова турка.

В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, считавшийся самым красивым и высо-

ким во Франции. В XVIII веке его называли *патриархом всех каштановых деревьев королевства*.

Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена Неустанного поклонения, отличными от тех, которые были подчинены ордену Сито. Орден Неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних; он насчитывает всего двести лет. В 1649 году святыне дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев; то было неслыханное, страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре, назначил торжественный крестный ход с участием всего духовенства обители; богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин — г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «чтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых женщин и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна — в 1652 году, другая — в 1653, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахини из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мец, аббатом Сен-Жерменским, с тем, чтобы не одна девица не принималась туда иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которое являлось бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал монастырю жалованную грамоту; аббатская хартия и королевская грамота в 1654 году были утверждены счетной палатой и парламентом.

Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения Святым дарам». Их первый монастырь был «заново воздвигнут» на улице Кассет на средства маркизы де Бук и графини Шатовье.

Как видим, этот орден не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он подчинялся аббату Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердца Христова подчинялись магистру ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердия — магистру ордена лазаристов.

Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что опи-

сали. В 1657 году папа Александр VII особой грамотой разрешил бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.

Глава одиннадцатая

КОНЕЦ МАЛОГО ПИКПЮСА

С начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который в XIX веке сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, — потребности человечества, но, подобно всему, чего коснулась революция, оно из враждебного прогрессу явления превратится в явление, благоприятствующее ему.

Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион тоже. Там уже не было ни дряхлых старух, ни молодых девушек. Одни умерли, другие рассеялись. *Volaverunt*¹.

Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы идти в послушницы, но в клирошанки — ни одной. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая — признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь растет тяжесть искуса, обязанности каждой становятся все менее посильными; недалек час, когда останется не более двенадцати согбенных, измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным независимо от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушает. И монахини стали умирать. Когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: *Hic jaseo. Vixi annos viginti et tres*². По причине упадка монастырь отказался от воспитания девушек.

¹ Разлетелись (лат.).

² Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года (лат.).

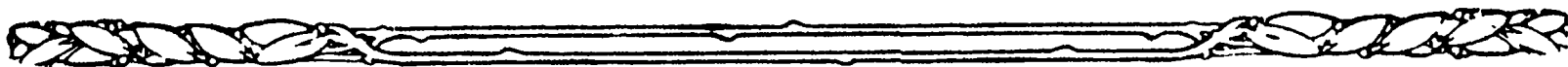
Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного таинственного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, — быть может, не без пользы для себя, — грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне нам представляются новыми. Это запертый сад. *Hortus conclusus*. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, — во всяком случае с уважением, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.

Заметим между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, — что представляет собой распятие? Убийение праведника.

В XIX веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, — лишь бы, отучившись от одного, научились другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, — но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием.

А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое — это привидение, способное подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо — суеверие и своя маска — лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.

Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, свобода защищает.



В СКОБКАХ

Глава первая

МОНАСТЫРЬ КАК ОТВЛЕЧЕННОЕ ПОНЯТИЕ

Эта книга — драма, в которой главное действующее лицо — бесконечность.

Человек в ней лицо второстепенное.

Встретив на своем пути монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь — достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства — является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.

Здесь не место развивать некоторые идеи. Однако, не изменяя нашей сдержанности, мысленно делая оговорки и даже негодуя, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы чтим. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!

Глава вторая

МОНАСТЫРЬ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

С точки зрения истории, разума и истины монашество подлежит осуждению.

Монастыри, расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромаждающие страну, являются помехами для движения и

средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным — это то же, что омега по отношению к дубу или бородавка к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по каким был благотворным в период его чистоты.

Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные, когда современная цивилизация нарождалась, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, монастыри, благотворные в X веке, спорны в XV, отвратительны в XIX. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации — Италию и Испанию, олицетворявших одна — свет, другая — великолепие Европы в течение ряда веков. И если в наши дни эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.

Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений средних веков. Подобный монастырь — средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, облит зловещим сиянием смерти.

Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие, как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того, — кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия окутанные покрывалами существа, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на

молитве. Это женщины, которые мнят себя супругами Христа; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Живут ли они? Нет. Их нервы превратились в кости; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, благословляет их и держит в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; средоточия дикости.

Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник — евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Один-единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. *In-rase*¹ заменял собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земли. И там и тут женщины ломали себе руки; на долю одних — волны, на долю других — могила; там — утопленницы, здесь — погребенные. Чудовищная параллель!

Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделяются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», — говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», — вторят им простаки. Жан-Жак — фразер; Дидро — фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена, — фразер. Некто — кто именно, не помню — недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон — жертва и что, право, надо пожалеть «этого бедного Олоферна».

А факты между тем нелегко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя, — вот оно, подлинное средневековое перед

¹ Здесь: подземная темница пожизненного заключения (лат.).

глазами у всех нас! — в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля — четыре каменные темницы, наполовину под землей, наполовину под водой. Это были *in-rase*. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и зарешеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней — в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице мокрый. Мокрая земля заменяла ложе заключенному в *in-rase*. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой — подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, — ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая его гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. *In-rase*, темницы, железные крючья, ошейники, высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что здесь мертвецом был живой человек, грязь, заменяющая пол, дыра отхожего места, стена, сквозь которую просачивается вода!... А нам говорят — фразеры!

Глава третья

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО УВАЖАТЬ ПРОШЛОЕ

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком оно до сих пор существует в Тибете, — род чахотки для цивилизации. Оно останавливает жизнь. Оно опустошает страну. Монастырское заточение — это оскотление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому частое насилие над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опиравшийся на монастырь, право первородства, разрешавшее старшим отсылать в монастыри младших членов больших семей, жестокости, о которых мы только что упоминали, *in-rase*, замкнутые уста, заточенные мысли, великое множество несчастных душ, брошенных в темницу вечных обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации страдания этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед сутаной и по-

крывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством.

Однако, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар XIX века; непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими волосы, на притязания испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, на нежность покойника, который вернулся бы на землю, чтобы обнимать живых.

«Неблагодарный! — говорит одежда. — Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» — «Я родилась в морском просторе», — говорит рыба. «Мы были розой», — твердят духи. «Я любил вас», — говорит покойник. «Я просвещал вас», — говорит монастырь.

На это есть один ответ: «То было когда-то».

Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого набальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолоту раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к кропилам и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему — все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, — впрочем, люди умные, — применяют простейший прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией, и шествуют, крича: «Вот вам, получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспии. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая». *Bos cretatis*¹. А мы в иных случаях почитаем прошлое и щадим его всюду, лишь бы оно соглашалось мирно покоиться в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.

¹ Набеленный мелом бык (лат.). Ювенал (Сатира 10).

Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки — эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хотя и эфемерны; с ними надо вступить в рукопашную и воевать, не давая передышки, ибо одним из роковых предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.

Монастырь во Франции, в середине XIX века — это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, — настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобратся в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины — никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и разобратся в нем. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета. Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в XIX веке, мы относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «Монастырь» — говорит: «Болото». Способность монастырей к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы не можем подумать без ужаса о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калутеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам позволено взглянуть в них пристальней.

Глава четвертая

МОНАСТЫРЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ

Люди собираются и живут сообща. По какому праву? По праву объединения.

Они запираются у себя. По какому праву? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь.

Они не покидают своих четырех стен. По какому праву? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.

Но что они делают там, у себя?

Они говорят шепотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или в грубый холст. Никто из них не владеет собственностью. Вступая в общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения: дворянином, вельможей, теперь равен простому крестьянину. Кельи у всех одинаковые. Все подвергаются обряду пострижения, носят одинаковые сутаны, едят черный хлеб, спят на соломе и все превращаются в прах. То же вретище на теле, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми, все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь — такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Имя уравнивает всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».

Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!».

Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять это в соображение.

Потому-то в предыдущих главах книги я и говорил об одном монастыре с уважением. Если забыть о средних веках, забыть об Азии, отложив до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и прибывания в монастыре, всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община — там коммуна; где налицо коммуна — там право. Монастырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преображение! Достаточно одной свободы, чтобы превратить монастырь в республику.

Продолжаем.

Мужчины и женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубую одежду, они все равны, они зовут друг друга

братьями и сестрами, все это так, но ведь они еще что-то делают?

Да.

Что же?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.

Что это означает?

Глава пятая

МОЛИТВА

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться богу — что это значит?

Существует ли бесконечность вне нас? Едина ли она, имманентна ли, перманентна? Непременно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы — понятие относительное?

И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга? Не находится ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Низшее «я» — это душа; высшее «я» — это Бог.

Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.

Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; уничтожать дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое — это океан. Что та-

кое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва — могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.

Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека — по меньшей мере, возле него — стоит право Души.

Сокрушать фанатизм и благоговеть перед бесконечным — таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, преклонив колена перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, униженные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоравливать верования, освобождать религию от суеверий, уничтожать все, что паразитирует во имя бога.

Глава шестая

НЕОСПОРИМАЯ БЛАГОДАТЬ МОЛИТВЫ

Всякий способ молиться хорош, лишь бы молитва была от души. Переверните молитвенник вверх ногами, но душою слейтесь с бесконечностью.

Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.

Возводить недостающее нам чувство в источник истины — на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.

Любопытны замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей бога. Она напоминает крота, восклицающего: «Как они жалки со своим солнцем!»

Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины своей мудростью, они, в глубине души, не слишком уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в бога, то уже само величие их разума подтверждает существование бога.

Мы приветствуем в них философов и неумолимо осуждаем их философию.

Продолжаем.

Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделяются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».

Утверждение «растение хочет» вместо утверждения «растение произрастает» было бы действительно весьма плодотворно, если бы к нему добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому, что вывод был бы такой: растение хочет, значит у него есть свое «я», вселенная хочет, значит у нее есть свой бог.

Мы же, в противоположность этой школе, ничего не отмечаем *a priori*, и все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.

Отрицать волю бесконечности, то есть волю бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится «измышлением разума».

Всякий спор с нигилизмом бесполезен: нигилист, если только он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.

С его точки зрения допустимо, что он сам для себя — «измышление разума».

Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».

Короче говоря, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая все сводит к односложному «нет».

На «нет» есть лишь один ответ: «да».

Нигилизм заводит в тупик.

Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто есть что-то.

Человек живет утверждением в еще большей мере, чем хлебом.

Видеть и показывать недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами — должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться — какая жалкая

цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и скот. Мыслить — вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу познания, дать всем людям в качестве эликсира познание бога, заставить совесть побрататься в их душах со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза, — таково назначение реальной философии. Нравственность — это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для человеческого разума. Именно идеал вправе сказать: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое, сие есть кровь Моя». Мудрость — святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке; став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.

Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и только из любопытства.

Откладывая развитие нашей мысли до другого раза, пока что мы скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил — веры и любви.

Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это Бог.

Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность — понятия тождественные.

Глава седьмая

ПОРИЦАТЬ СЛЕДУЕТ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые: бороться против первосвященника-Каиафы, против судьи-Дракона, против законодателя-Трималхиона, против императора Тиверия, — все это ясно, определено, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех связанных с этим неудобствах и злоупотреблениях требует признания и пощады. Отшельничество — проблема чисто человеческая.

Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.

Монастырь — противоречие. Его цель — спасение; средство — жертва. Монастырь — это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.

Отречься, чтобы властвовать, — вот, по-видимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад, как залог райского блаженства.

Пострижение в монахи или в монахини — самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.

По-нашему, насмешки тут неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.

Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.

Глава восьмая

ВЕРА, ЗАКОН

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских, но мы всюду чтим того, кто погружен в размышления.

Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.

Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!

Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.

Созерцать — все равно что трудиться; мыслить — все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, работают, сложенные пальцы творят. Взгляд, устремленный к небесам, — деяние.

Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.

В наших глазах затворники — не праздные люди, отшельники — не тунеядцы.

Размышлять о сокровенном — в этом есть величие.

Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник и философ сходятся. Смерть неизбежна. Тут аббат ордена траппистов перекликается с Горацием.

Вкрапливать в свою жизнь мысль о смерти — правило мудреца и правило аскета. В этом и мудрец и аскет согласны друг с другом.

Существует материальное развитие — его мы хотим. Существует также нравственное величие — к нему мы стремимся.

Люди опрометчивые, торопящиеся с выводами, говорят: — Что такое эти неподвижные фигуры, обращенные мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?

Увы! Перед лицом тьмы, которая окружает и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».

Людям нужны вечные моельщики за тех, кто никогда не молится.

По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.

Молящийся Лейбниц — это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, — это прекрасно. *Deo erexit Voltaire*¹.

Мы стоим за религию против религий.

Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.

Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на XIX век, — время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственный принцип и поглощены скоропреходящими и гнусными материальными благами, всякий, удаляющийся от мира, в наших глазах достоин уважения. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все-таки жертва. Вменить себе в долг суровую ошибку — это не лишено благородства.

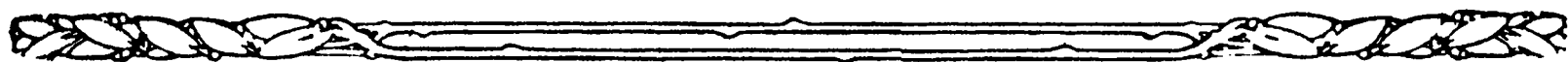
Если беспристрастно и всесторонне исследовать истину до конца, то нельзя не признать, что в монастыре, самом по себе, в монастыре, как в отвлеченном понятии, бесспорно есть нечто величественное. Особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном принятии монашеского пострига звучит протест.

Суровая и безотрадная монастырская жизнь, отдельные

¹ Богу вознес молитву Вольтер (лат.).

черты которой мы только что обрисовали,— это не жизнь, ибо в ней нет свободы, и не могила, ибо в ней нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую — бездна, где мы будем находиться. Это грань, узкая и неопределенная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно; здесь угасающий луч жизни сливается с тусклым лучом смерти; это полумрак гробницы.

Не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как они, верой, мы не могли смотреть без благоговейного и сочувственного трепета, без страдания, смешанного с завистью, на эти самоотверженные существа, пугливые и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны, и ищущие неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные мгновения полувознесенные могучим дыханием вечности.



КЛАДБИЩА БЕРУТ ТО, ЧТО ИМ ДАЮТ

Глава первая,

ГДЕ ГОВОРИТСЯ О СПОСОБЕ ВОЙТИ В МОНАСТЫРЬ

В такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.

Он перелез через садовую ограду на углу улицы Полонсо. Гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, оказался хором монахинь, певших утреню; зала, представшая перед ним во мраке, оказалась молельней; призрак, который он увидел простертым на полу, оказался сестрой, «совершающей искупление»; бубенчик, звук которого поразил его, оказался бубенчиком садовника, привязанным к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, сели перед ярко пылавшим очагом ужинать; ужин их состоял из куска сыра и стакана вина; после ужина они сейчас же улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке была занята Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал:

— Я должен остаться здесь навсегда.

Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Налетевший на него новый шторм забросил их в монастырь, и Жан Вальжан думал теперь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении монастырь был и самым опасным, и самым безопасным местом: самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, — таким образом,

для Жана Вальжана монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме; самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, — это единственное спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырскую ограду так просто не перелезть. Как же он оказался здесь, да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это за ребенок? Откуда они оба взялись? В монастыре Фошлеван ничего не слышал о Монрейле-Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что с вопросами к нему нельзя было подступиться; да Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительным лицом. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что времена нынче тяжелые и г-н Мадлен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же он замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это не отвратило от него Фошлевана, — как многие из наших северных крестьян, он был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, конечно, пожелал в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимо, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это — каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, дотрагивался до них, говорил с ними — и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и представлял себе ясно только одно: г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А его совесть добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой — стану я его спасать? Конечно».

Однако ж как помочь ему остаться в монастыре? Трудная задача! Перед такой, почти неосуществимой попыткой Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардий-

ский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Старый дед Фошлеван прожил всю жизнь для себя, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем в жизни не интересовавшийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, найдя возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью на это накинута, с какой умирающий, обнаружив стакан хорошего вина, которое он никогда не пробовал, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где было бы бесполезно дать психологическую характеристику дедушки Фошлевана. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев в силу разных причин крушение, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же ни ругань, ни щелканье кнутом, что входило в круг его обязанностей и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, не убили в нем письмоводителя. Он обладал природным умом; его речь была правильна; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Это прямо барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «не то мещанин, не то мужик; в общем ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел и был изрядно потрепан, все же оставался человеком, вполне добровольно повиновавшимся первому побуждению, — драгоценное качество, препятствующее человеку творить зло! Недостатки и пороки, — а у него они были, — не укоренялись в нем; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем зна-

комстве с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

— Как же вы думаете теперь войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

— Прежде всего,— сказал Фошлеван,— вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад — мы пропали.

— Это верно.

— Господин Мадлен! Вы попали сюда в очень хорошее время, то есть, я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных очень больна. Значит, на нас особенно не будут обращать внимание. Сдается мне, что она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит,— святая. Сказать по правде, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить панихиду, а потом заупокойную обедню. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.

— Однако,— заметил Жан Вальжан,— это помещение находится в углублении стены, она скрыта какими-то развалинами, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

— И монахини к ней не подходят.

— Так в чем же дело? — воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь нас никто не увидит».

— А девочки? — возразил Фошлеван.

— Какие девочки? — удивился Жан Вальжан.

Только Фошлеван собрался ему ответить, как раздался удар колокола.

— Монахиня скончалась,— сказал он.— Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану прислушаться.

Последовал второй удар колокола.

— Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно в течение двадцати четырех часов, до выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они,

несмотря на запрет, все равно прибегут сюда и будут всюду совать свой нос. Эти херувимчики — настоящие чертенята.

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Девочки. Вас мигом обнаружат, можете не сомневаться. А потом станут кричать: «Глядите: мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Перемены у них не будет. Весь день пройдет в молитвах. Слышите колокольный звон? Я вам говорил: каждую минуту удар колокола. Это похоронный звон.

— Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя Жан Вальжан подумал: «Здесь Козетта могла бы получить воспитание».

— Конечно, есть! — воскликнул Фошлеван. — Маленькие девочки! Ну и визг подняли бы они тут! И задали бы стрекача! Здесь мужчина — все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

— Этот монастырь — наше спасение, — шептал он про себя. Затем сказал вслух:

— Да, самое трудное — это остаться здесь.

— Нет, — возразил Фошлеван, — самое трудное — выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.

— Выйти?

— Да, господин Мадлен, чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.

Переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

— Не дай бог, если вас тут застанут. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А монахиням требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более затейливый звон другого колокола.

— Ага! — сказал Фошлеван. — Это сбор капитула. Зовут матерей-изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Скажите, — только не подумайте, что я собираюсь вас допрашивать, — как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного

тигров, и вдруг вам дают дружеский совет возвратиться в лес. Жан Вальжан представил себе весь квартал: всюду слежка, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка — сам Жавер.

— Немыслимо! — воскликнул он. — Дедушка Фошлеван! Считайте, что я упал сюда с неба.

— Я-то этому верю, охотно верю, мне об этом нечего и говорить, — сказал Фошлеван. — Бог, наверно, взял вас на руки, чтобы разглядеть получше, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, но ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел осмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи — это такой народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?

— Козетта.

— Это ваша девочка? Вернее сказать, вы ее дед?

— Да.

— Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной — ничего странного в этом нет. Вы скажите девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на Зеленой дороге, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставляю до завтра у нее. А потом малютка вернется с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

— Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в корзине и под чехлом, как Козетта.

Фошлеван почесал у себя за ухом, что служило у него признаком крайнего замешательства.

Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

— Это уходит врач покойников, — сказал Фошлеван. — Он поглядел и сказал: «Так и есть: она умерла». После того, как доктор подпишет пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в

гроб обряжают игумены; если монахиня, то обряжают монахини. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник — он ведь отчасти могильщик. Гроб ставят в нижний, выходящий на улицу, церковный предел, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня и факельщиков за мужчин не считают. В этом самом пределе я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб — и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят с грузом внутри. Вот что такое похороны. *De profundis*¹.

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Старый садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее.

— Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку — отвозят на кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. И чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен...

— Погребен, — сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой.

— Ну, конечно, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением! — подхватил Фошлеван.

Раздался четвертый удар колокола. Фошлеван быстрым движением снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и пристегнул его к колену.

— На этот раз звонят мне. Меня требует настоятельница. Так и есть, я укололся шпеньком от пряжки. Господин Мадлен! Не двигайтесь с места и ждите меня. Видно, какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

Он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!».

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, мимоходом оглядывая грядки с дынями.

Не прошло и десяти минут, как дедушка Фошлеван, бу-

¹ Из глубины взываю (лат.) — начало заупокойной молитвы.

бенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и тихий голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. Приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном, стоявшем в приемной стуле настоятельница ожидала Фошлевана.

Глава вторая

ФОШЛЕВАН В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

При некоторых критических обстоятельствах людям с определенным характером и определенной профессией свойственно принимать взволнованный и вместе с тем значительный вид — особенно священникам и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности можно было прочесть на лице настоятельницы — некогда очаровательной и просвещенной мадемуазель Блемер, а ныне матери Непорочность, обычно жизнерадостной.

Садовник остановился на пороге кельи и робко поклонился. Перебравшая четки настоятельница взглянула на него и спросила:

— А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

— Дедушка Фован! Я велела позвать вас.

— Вот я, матушка, и пришел.

— Мне нужно с вами поговорить.

— И мне нужно с вами поговорить, — сам испутившись своей дерзости, сказал Фошлеван. — Мне тоже надо кое-что сказать вам, матушка.

Настоятельница поглядела на него.

— Вы хотите сообщить мне что-то?

— Нет, попросить.

— Хорошо, говорите.

Старик Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецей, — сила; его не боятся и потому на эту удочку попадают. Прожив два с лишним года в монастыре, Фошлеван добился признания. Если не считать работы в саду, ему, в постоянном его одино-

честве, ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от закутанных в монашеские покрывала женщин, сновавших взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой мелькание теней. Наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальность, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван все знал и молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери-изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал свое место и выходил из сторожки, только когда необходимость требовала его присутствия в огороде либо в саду. Тактичность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставлял все ему выбалтывать двух человек: в монастыре — привратника, и потому он знал подробности всего, что происходило в приемной, а на кладбище — могильщика, и потому он знал все обстоятельства похорон. Так он получал двоякого рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие — на их смерть. Но он ничем не злоупотреблял. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего и ни в чем не смыслящий, без сомнения глуховатый — сколько достоинств! Заменить его было бы трудно.

С уверенностью человека, знающего себе цену, старик обратился к почтенной настоятельнице с глубокомысленной и по-деревенски многословной речью. Он долго говорил о своем возрасте, о своих недугах, о бремени лет, усиливающимся по мере того, как ему все труднее становится работать, о том, как велик сад, и о том, что он не спит по ночам, — к примеру, прошлую ночь, когда ему из-за того, что светила луна, пришлось накрывать соломенными матами дыни, и в конце концов договорился вот до чего: у него есть брат (настоятельница сделала движение), брат не молодой (на этот раз настоятельница сделала более спокойное движение), и если угодно, брат мог бы поселиться с ним и помогать ему; это превосходный садовник, для общины он будет очень полезен, полезнее, чем сам Фошлеван; если же монахини взять брата не согласятся, то он, Фошлеван-старший, чувствуя упадок сил и видя, что ему не справиться с работой, вы-

нужден будет, как это ни обидно, уйти; потом, у брата есть дочка, которую он привел бы с собой, девочка выросла бы здесь в страхе божьем и, как знать, может статься, в один прекрасный день постриглась бы в монахини.

Когда он умолк, настоятельница перестала перебирать четки.

— Вы можете сегодня, до вечера, раздобыть крепкий железный брус? — спросила она.

— Для чего?

— Чтобы можно было употребить его вместо рычага.

— Найду, матушка, — сказал Фошлеван.

Настоятельница встала и удалилась в соседние покои — в зал заседаний капитула, где, по всей вероятности, уже собрались матери-изборщицы. Фошлеван остался один.

Глава третья

МАТЬ НЕПОРОЧНОСТЬ

Прошло приблизительно четверть часа. Настоятельница вернулась и села на стул.

Оба собеседника казались озабоченными. Добросовестнейшим образом воспроизводим их диалог:

— Дедушка Фован!

— Что, матушка?

— Вы знаете молельню?

— У меня там есть местечко: я там стою обедню и другие службы.

— А на клирос вы заходили по делам службы?

— Раза два-три.

— Вот что: там надо приподнять камень.

— Тяжелый?

— Каменную плиту возле алтаря.

— Которая закрывает вход в склеп?

— Да.

— Вот тут бы и пригодился еще один мужчина.

— Мать Вознесение вам поможет — она не уступит мужчине.

— Женщина никогда не заменит мужчину.

— Мы можем дать вам в помощь только женщину. Каждый делает то, что в его силах. Только потому, что отец Мабильон приводит четыреста семнадцать посланий святого Бернара, а Мерлонус Горстиус — всего триста шестьдесят

семь, я ведь не отношусь презрительно к Мерлонусу Горстиусу.

— Я тоже.

— Надо соразмерять свои силы. Монастырь — не дровяной склад.

— А женщина — не мужчина. Вот брат мой, тот силен!

— Кроме того, у вас будет рычаг.

— Только такой ключ и подходит к таким дверям.

— В плите есть кольцо.

— В него я продену рычаг.

— А плита устроена так, что можно ее повернуть.

— Хорошо, матушка. Я отворю склеп.

— Четыре сестры-клирошанки вам помогут.

— А когда склеп будет отворен?...

— Тогда его придется опять затворить.

— И все?

— Нет, не все.

— Приказывайте, матушка.

— Фован! Мы вам доверяем.

— Я нахожусь здесь, чтобы исполнять любые приказания.

— И хранить молчание.

— Да, матушка.

— Когда склеп будет открыт...

— То я его опять затворю.

— Но сначала...

— Что, матушка?

— В него надо будет кое-что опустить.

Наступило молчание. Настоятельница поджала нижнюю губу, точно сомневаясь в чем-то, потом опять заговорила:

— Дедушка Фован!

— Слушаю, матушка.

— Вам известно, что утром скончалась монахиня?

— Нет.

— Разве вы не слышали колокольного звона?

— В саду ничего не слышно.

— Правда?

— Я плохо слышу звон, которым вызывают меня.

— Она скончалась на рассвете.

— А кроме того, ветер дул не в мою сторону.

— Преставилась матушка Распятие. Праведница.

Настоятельница умолкла, пошевелила губами, словно мысленно произнося молитву, и продолжала:

— Три года тому назад госпожа Бетюн, янсенистка, при-

няла истинную веру только потому, что видела, как молится мать Распятие.

— А, верно! Вот теперь, матушка, я слышу похоронный звон.

— Монахини перенесли ее в покойницкую, рядом с церковью.

— Я знаю, где это.

— Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не должен входить туда. Следите за этим. Что было бы, если бы в покойницкую проник мужчина!

Пробило девять часов.

— В девять часов и на всякий час хвала и поклонение святым дарам престола! — произнесла настоятельница.

— Аминь, — сказал Фошлеван и отер со лба пот.

Настоятельница опять что-то пробормотала, наверно — из Священного писания, потом, повысив голос, изрекла:

— При жизни мать Распятие обращала в истинную веру; после смерти она будет творить чудеса.

— Уж она-то будет их творить! — подтвердил Фошлеван, подделываясь к настоятельнице.

— Дедушка Фован! Для общины мать Распятие была благословением божьим. Конечно, не всякому посылается такая кончина, как кардиналу Берюлю, который, служа обедню со словами *Hanc igitur oblationem*¹ на устах, отдал богу душу. Но, хотя наша усопшая и не была удостоена такого счастья, кончине ее все же можно позавидовать. Она до последней минуты была в полном сознании. Она говорила с нами, потом говорила с ангелами. Она сообщила нам свою последнюю волю. Если бы вы были крепче в вере и могли бы тогда быть у нее в келье, то она одним своим прикосновением исцелила бы вашу ногу. Она улыбалась. Чувствовалось, что она воскресает в боге. Блаженная кончина!

Фошлеван решил, что это последние слова молитвы.

— Аминь! — сказал он.

— Дедушка Фован! Волю умерших надо исполнять.

Настоятельница пропустила сквозь пальцы несколько зерен на четках. Фошлеван молчал.

— Я справлялась насчет этого у многих духовных лиц, принявших во имя Христа подвиг монашеский, — продолжала она. — Плоды их усилий удивительны.

— Матушка! Отсюда похоронный звон слышен гораздо лучше, чем из сада.

¹ «Вот это приношение...» (лат.) — слова из католической мессы.

- Она больше, чем просто усопшая, она — святая.
- Как и вы, матушка.
- Она двадцать лет спала в гробу с разрешения святейшего отца нашего папы Пия Седьмого.
- Того самого, который короновал импе... Буонапарта.
- Для такого смышленного человека, как Фошлеван, это напоминание было непростительно. К счастью, настоятельница, всецело поглощенная своей мыслью, не расслышала его.
- Дедушка Фован! — продолжала она.
- Слушаю, матушка.
- Святой Диодор, архиепископ Каппадокийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано одно-единственное слово: *Asarus*, что значит земляной червь; это было исполнено. Не так ли?
- Так, матушка.
- Блаженный Меццокан, аквилыйский аббат, пожелал быть преданным земле под виселицей; это было исполнено.
- Верно.
- Святой Теренций, епископ города Порты, расположенного при впадении Тибра в море, пожелал, чтобы на его надгробной плите была вырезана такая же надпись, как у отцеубийц, надеясь, что все прохожие будут плевать на его могилу; это было сделано. Волю усопших следует исполнять.
- Конечно.
- Тело Бернара Гвидония, родившегося во Франции близ Рош-Абейль, было, как он приказал, вопреки королю Кастилии, перенесено в церковь доминиканцев, в город Лимож, хотя Бернар Гвидоний был епископом в испанском городе Туй. Можно ли на это что-нибудь возразить?
- Нет, матушка.
- Этот случай засвидетельствован Плантавием де ла Фос.
- Молча пропустив еще несколько зерен, настоятельница продолжала:
- Дедушка Фован! Мать Распятие будет погребена в том гробу, в котором спала двадцать лет.
- Это правильно.
- Это будет продолжение ее сна.
- Значит, мне придется заколотить ее гроб?
- Да.
- А казенный гроб будет пустовать?
- Совершенно верно.
- Я готов услужить честной общине.
- Четыре клирошанки вам помогут.
- Заколотить гроб? Я и без них обойдусь.
- Не заколотить, а спустить.

- Куда?
- В склеп.
- В какой склеп?
- Под алтарем.

Фошлеван подскочил на месте.

- В склеп под алтарем!
- Под алтарем.
- Но...
- У вас будет железный брус.
- Да, но...
- Вы приподнимите плиту за кольцо, продев в него брус.
- Но...

— Воле усопших надо повиноваться. Быть погребенной в склепе под алтарем молельни, не лежать в неосвященной земле, остаться после смерти там, где она молилась при жизни, — это предсмертная воля матери Распятие. Она просила нас об этом, вернее — приказала.

- Но ведь это запрещено!
- Запрещено людьми, повелено богом.
- А если об этом узнают?
- Мы вам доверяем.
- Ну, я-то нем, как камень из вашей ограды.

— Капитул собрался. Матери-изборщицы, с которыми я только что еще раз посоветовалась и которые продолжают совещаться, решили, что мать Распятие, согласно ее желанию, будет похоронена в своем гробу под нашим алтарем. Вы только подумайте, дедушка Фован, сколько здесь будет твориться чудес! Как прославит господь нашу обитель! Чудеса исходят от могил.

— Матушка! А что, если уполномоченный санитарной комиссии...

— Святой Бенедикт Второй расходился в вопросах погребения с Константином Погонатом.

— А пристав...

— Хонодмер, один из семи королей германских, вторгшихся в Галлию при императоре Констанции, признал за монахами право быть погребенными в лоне религии, то есть под алтарем.

— Но инспектор префектуры...

— Все мирское есть прах пред лицом церкви. Мартин, одиннадцатый магистр картезианцев, дал своему ордену такой девиз: *Stat crux dum volvitur orbis*¹.

¹ Крест стоит, пока вращается вселенная (лат.).

— Аминь! — сказал Фошлеван, неизменно выходявший подобным образом из затруднительного положения, в какое его всякий раз ставила латынь.

Кто слишком долго молчал, тому годятся любые слушатели. В тот день, когда ритор Гимнасторас вышел из тюрьмы с множеством вбитых в него там новых дилемм и силлогизмов, он остановился перед первым попавшимся ему по дороге деревом и, обратившись к нему с речью, затратил огромные усилия, чтобы убедить его. Настоятельница обычно соблюдала обет строгого молчания, но сейчас ее охватило непреодолимое желание высказаться; она встала и разразилась целой речью с неудержимостью потока, хлынувшего в открытый шлюз.

— По правую руку мою — Бенедикт, по левую — Бернар. Кто такой Бернар? Первый настоятель Клерво. Фонтен в Бургундии — место священное, ибо там он появился на свет. Отца его звали Теселином, мать — Алетой. Свой подвиг он начал в Сито, а закончил в Клерво; в настоятели он был рукоположен епископом Шалона-на-Соне, Гильомом де Шампо. У него было семьсот послушников, он основал сто шестьдесят монастырей; он поверг во прах Абелара на Санском соборе в тысяча сто сороковом году, а также Пьера де Брюи и его ученика Генриха и других заблудших, которые именовались «апостольскими учениками»; он смутил Арно из Брешии, разгромил монаха Рауля, убийцу евреев; в тысяча сто сорок восьмом году он диктовал свою волю собору в Реймсе, осудил Жильбера де ла Поре, епископа Пуатье, осудил Эона де л'Этуаль, помирил принцев, обратил в истинную веру Людовика Младшего, давал советы папе Евгению Третьему, руководил монастырем Тампль, проповедовал крестовый поход, сотворил всего двести пятьдесят чудес, творил иной раз тридцать девять чудес в день. Кто такой Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассино, это второй основоположник монастырских уставов, это Василий Великий Запада. Учрежденный им орден дал сорок пап, двести кардиналов, пятьдесят патриархов, тысячу шестьсот архиепископов, четыре тысячи шестьсот епископов, четырех императоров, двенадцать императриц, сорок шесть королей, сорок одну королеву, три тысячи шестьсот канонизированных святых и существует уже тысячу четыреста лет. С одной стороны, святой Бернар; с другой — инспектор городских свалок! Государство, инспекция, бюро похоронных процессов, правила, администрация, — какое нам до этого дело? Кто бы ни увидел, как с нами обходятся, все были бы возмущены. Мы даже не имеем права отдавать прах наш Иисусу

Христу! Ваша санитарная комиссия — это выдумка революции. Господь, подчиняющийся приставу, — вот наш век! Молчите, Фован!

Под этим ливнем слов Фошлевану было не по себе.

А настоятельница продолжала:

— В праве монастыря на погребение никто не сомневается. Только фанатики и еретики отрицают его. Мы живем в эпоху страшных заблуждений. То, о чем следует знать, никому не ведомо, а ведомо то, о чем знать не следует. Люди невежественны и нечестивы. В наше время находятся даже такие, которые не делают различия между Бернаром, величайшим из святых, и так называемым Бернаром Бедных католиков, добрым священником, жившим в тринадцатом веке. А иные доходят до такого богохульства, что сравнивают казнь Людовика Шестнадцатого на эшафоте с казнью Иисуса Христа на кресте. Людовик Шестнадцатый был всего лишь королем. Убоимся же гнева господня! Нет больше ни праведного, ни неправедного. Все знают Вольтера, но никто не знает Цезаря де Бюс. Между тем Цезарь де Бюс был блаженный, а Вольтер — блажной. Кардинал Перигор не знал даже, что Шарль де Кондран был преемником Берюля, а Франсуа Бургуэн — преемником Кондрана, а Жан-Франсуа Сено — преемником Бургуэна, а отец Сент-март — преемником Жана-Франсуа Сено. Все знают отца Котона, но не потому, что он был одним из трех основателей оратории, а потому что дал повод королю-гугеноту Генриху Четвертому сочинить ругательное присловие. Сердцу мирян святой Франсуа Сальский любезен потому, что он плутовал в карточной игре. И после этого нападают на религию! Почему? Потому что были дурные пастыри, потому что епископ Гапский Сагитер — брат епископа Амбренского Салона и потому что оба были последователями Момоля. Ну и что же? Разве это помешало Мартину Турскому остаться святым и отдать половину своего плаща нищему? Святых преследуют. Закрывают глаза на истину. Привыкли к мраку. Самые свирепые звери — звери слепые. Никто не думает об аде. Нечестивцы! «Именем короля» означает ныне «именем революции»; люди забыли свой долг и по отношению к живым и по отношению к мертвым. Умирать, как должно праведнику, воспрещено. Погребение стало делом гражданских властей. Это ужасно. Его святейшество Лев Второй написал по этому поводу два обращения: одно — к Пьеру Нотеру, другое — к королю вестготов, с целью оспорить и низвергнуть главенство экзарха и верховную власть императора в вопросах, касающихся усопших. Епископ Шалон-

ский Готье дал по этому же поводу отпор герцогу Бургундскому Отону. Прежде магистратура держалась того же мнения. В былое время мы имели право высказываться на капитуле и по мирским делам. Магистр ордена аббат Сито был почетным советником в бургундской судебной палате. Мы поступаем с нашими усопшими так, как считаем нужным. Разве прах святого Бенедикта не покоится во Франции в аббатстве Флери, именуемом Сен-Бенуа-на-Луаре, хотя он скончался в Италии, в Монте-Кассино, в субботу двадцать первого марта пятьсот сорок третьего года? Все это бесспорно. Я презираю гнусавых псалмопевцев, терпеть не могу приоров, питаю отвращение к еретикам, но еще больше я возненавижу того, кто станет мне противоречить. Достаточно перелистать Арну Виона, Габриэля Бюселена, Тритема, Мороликуса и Люка д'Ашери, чтобы все со мной согласились.

Настоятельница перевела дух.

— Решено, дедушка Фован? — спросила она.

— Решено, матушка.

— Можно на вас рассчитывать?

— Я повинуюсь.

— Отлично.

— Я всей душой предан монастырю.

— Хорошо. Вы заколотите гроб. Сестры отнесут его в молельню. Там отслужат панихиду. Затем все вернутся в монастырь. Между одиннадцатую и двенадцатую ночи вы придете с железным брусом. Все будет совершено в величайшей тайне. В молельне будут находиться четыре клирошанки, мать Вознесение и вы.

— А сестра, которая стоит у столба?

— Она не обернется.

— Но она услышит.

— Она не будет слушать. Кроме того, что ведомо монастырю, то неизвестно миру.

Вновь наступило молчание.

— Вы снимете бубенчик, — продолжала настоятельница. — Сестре у столба незачем знать о том, что вы там находитесь.

— Матушка!

— Что, дедушка Фован?

— А врач покойников был?

— Он придет в четыре часа. Уже прозвонили, чтобы пришел врач. Но вы ведь не слышите никакого звона?

— Я прислушиваюсь только к своему.

— Похвально, дедушка Фован.

— Матушка! Рычаг должен быть по крайней мере шести футов длины.

— Где же вы такой найдете?

— Где есть железные решетки, там найдутся и железные брусья. У меня куча всякого железного лома в глубине сада.

— Примерно без четверти двенадцать. Не забудьте же!

— Матушка!

— Что?

— Если еще когда-нибудь потребуется такая работа, вспомните о моем брате. Вот это силач! Настоящий турок!

— Все это вы сделаете по возможности скорее.

— Я-то не очень проворен. Я калека; потому-то мне и нужен был бы помощник. Я хромаю.

— Хромота — не недостаток, это благодать господня. У императора Генриха Второго, который ниспроверг лжепапу Григория и восстановил Бенедикта Восьмого, было два имени: «Святой» и «Хромой».

— Хорошо иметь два имени, — пробормотал Фошлеван; он в самом деле был туговат на ухо.

— Дедушка Фован! Потратим, пожалуй, на все это час времени. Это не так уж много. Будьте с вашим железным брусом в одиннадцать часов у главного алтаря. Заупокойная служба начинается в полночь. Надо, чтобы все было конечно по крайней мере за четверть часа.

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать общине мое усердие. Мое слово крепко. Я заколочу гроб. Ровно в одиннадцать я приду в молельню. Там уже будут клирошанки. Там будет и мать Вознесение. Двое мужчин со всем этим управились бы лучше. Ну да ладно, уж как-нибудь! У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, спустим гроб и опять закроем. И никаких следов! Начальство ничего не заподозрит. Значит, все в порядке, матушка?

— Нет.

— Что же еще?

— А пустой гроб?

Это замечание послужило причиной паузы в диалоге. Фошлеван раздумывал. Раздумывала и настоятельница.

— Дедушка Фован! Что же делать с гробом?

— Его понесут на кладбище.

— Пустым?

Снова молчание. Фошлеван сделал левой рукой такое движение, словно отмахивался от назойливой мысли.

— Матушка! Но ведь я один заколачиваю гроб внизу, ту-

да, кроме меня, никто не может войти, я и накрою гроб покровом.

— Да, но когда носильщики будут поднимать гроб на похоронные дроги, а потом опускать его в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой.

— Ах, дья...! — воскликнул Фошлеван.

Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, и пристально взглянула на садовника. Окончание «вол» застряло у него в горле.

— Матушка! Я насыплю в гроб земли. Будет казаться, что в нем кто-то лежит.

— Вы правы. Земля — то же, что человек. Значит, вы уладите дело с пустым гробом?

— Это я беру на себя.

Лицо настоятельницы, до этой минуты мрачное и встревоженное, прояснилось. Жестом начальницы она отпустила своего подчиненного. Фошлеван направился к двери. Когда он переступил порог, настоятельница тихонько окликнула его:

— Дедушка Фован! Я вами довольна. Завтра после похорон придите ко мне с братом. Скажите ему, чтобы он привел с собой девочку.

Глава четвертая,

ПРИ ЧТЕНИИ КОТОРОЙ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ЖАН ВАЛЬЖАН ЧИТАЛ ОСТЕНА КАСТИЛЬХО

Шаг хромого похож на мигание кривого: оба не скоро достигают цели. Кроме того, Фошлеван был озадачен. Он потратил около четверти часа, чтобы достигнуть садовой сторожки. Козетта уже проснулась. Жан Вальжан усадил ее возле огня. Когда Фошлеван входил в сторожку, Жан Вальжан, указывая ей на висевшую на стене корзину садовника, говорил:

— Слушай хорошенько, маленькая моя Козетта. Мы должны уйти из этого дома, но мы опять вернемся сюда, и нам здесь будет очень хорошо. Старичок, который тут живет, вынесет тебя отсюда в этой корзине на спине. Ты будешь поджидать меня у одной женщины. Я приду за тобой. Главное, если не хочешь, чтобы Тенардье опять тебя забрала, будь послушна и ничего не говори!

Козетта с серьезным видом кивнула головой.

На скрип отворяемой Фошлеваном двери Жан Вальжан обернулся.

— Ну как?

— Все устроено, а толку мало,— ответил Фошлеван.— Мне разрешили привести вас; но прежде чем привести, надо вас отсюда вывести. Вот в чем загвоздка! С малюткой это просто.

— Вы ее унесете?

— А она будет молчать?

— Ручаюсь.

— Ну, а как же вы, дядюшка Мадлен?

После некоторого молчания, в котором чувствовалось беспокойство, Фошлеван воскликнул:

— Да выйдите отсюда той же дорогой, какой вошли!

Как и в первый раз, Жан Вальжан кратко ответил:

— Немыслимо.

Фошлеван, обращаясь больше к самому себе, чем к Жану Вальжану, забормотал:

— Меня еще одна вещь беспокоит. Я ей сказал, что наложу туда земли. Но мне кажется, что земля в гробу вместо тела... Нет, тут не обманешь, ничего не выйдет, она будет передвигаться, пересыпаться. Носильщики это почувствуют. Понимаете, дядюшка Мадлен, начальство непременно догадается.

Жан Вальжан пристально поглядел на него и подумал, что он бредит.

Фошлеван продолжал:

— Но как же вам, дья... шут побери, выйти отсюда? Главное, все это надо уладить до завтрашнего дня! Как раз завтра мне велено привести вас. Настоятельница будет ждать.

И тут он объяснил Жану Вальжану, что это награда за услугу, которую он, Фошлеван, оказывал общине: что в круг его обязанностей входят участие в похоронах, что он заколачивает гробы и помогает могильщику на кладбище; что умершая сегодня утром монахиня завещала положить ее в гроб, который при жизни служил ей ложем, и похоронить в склепе под алтарем молельни; что это воспрещено полицейскими правилами, но усопшая принадлежала к того рода праведницам, предсмертной просьбе которых перечить нельзя; что поэтому настоятельница и другие монахини хотят исполнить волю усопшей; что тем хуже для правительства; что, он, Фошлеван, заколотит гроб в келье, поднимет в молельне плиту и опустит усопшую в склеп; что в благодарность настоятельница согласна принять в монастырь

его брата садовником, а племянницу — воспитанницей; что его брат — это г-н Мадлен, а племянница — Козетта; что настоятельница приказала привести к ней брата завтра вечером, после мнимых похорон на кладбище; что он не может привести в монастырь г-на Мадлена, если тот уже находится внутри монастыря; что в этом заключается первое затруднение, что, наконец, есть и другое затруднение — пустой гроб.

— Какой такой пустой гроб? — спросил Жан Вальжан.

— Казенный гроб.

— Почему гроб? И почему казенный?

— Умирает монахиня. Приходит врач из мэрии и говорит: «Монахиня умерла». Градоначальство присылает гроб. Завтра оно присылает катафалк и факельщиков, чтобы взять гроб и отвезти на кладбище. Факельщики придут, поднимут гроб, а внутри — ничего.

— Так положите в него что-нибудь.

— Покойника? Его у меня нет.

— Нет, не покойника.

— А кого?

— Живого.

— Какого живого?

— Меня, — сказал Жан Вальжан.

Фошлеван вскочил так стремительно, словно под его стулом взорвалась петарда.

— Вас?

— А почему бы и нет?

Жан Вальжан улыбнулся одной из своих редких улыбок, напоминавшей солнечный луч на зимнем небе.

— Помните, Фошлеван, вы сказали: «Мать Распятие скончалась», а я добавил: «А дядюшка Мадлен погребен». Так оно и будет.

— Ну, ну, вы шутите, вы это не серьезно говорите!

— Вполне серьезно. Выйти отсюда надо?

— Конечно.

— Говорил я вам, чтобы вы нашли корзину с чехлом и для меня?

— Ну, говорили.

— Корзина будет сосновая, а чехол из черного сукна.

— Во-первых, из белого сукна. Монахинь хоронят в белом.

— Пусть будет белое.

— Вы не похожи на других людей, дядюшка Мадлен.

Увидеть, как игра воображения, являющаяся примером дикарской, смелой изобретательности каторги, возникает

среди окружающей его мирной обстановки и посягает на то, что он именовал «житьем-бытьем монастырским», было для Фошлевана так же необычно, как для прохожего увидеть морскую чайку, вылавливающую рыбу из канавы на улице Сен-Дени.

— Все дело в том, чтобы выйти отсюда незамеченным,— продолжал Жан Вальжан.— Вот вам и способ. Но только сообщите мне все подробности. Как это происходит? Где гроб?

— Пустой гроб?

— Да.

— Внизу, в комнате, которую называют покойницей. Он стоит на двух подставках и накрыт погребальным покровом.

— Длина гроба?

— Шесть футов.

— А какая она, эта покойницкая?

— Комната в нижнем этаже; в ней есть окно с решеткой,— оно выходит в сад и закрывается снаружи ставнями,— и две двери: одна — в монастырь, другая — в церковь.

— В какую церковь?

— В церковь, что на этой улице, в общую церковь.

— У вас есть ключи от этих двух дверей?

— Нет. У меня ключ от двери в монастырь, а ключ от двери в церковь у привратника.

— А когда привратник отворяет эту дверь?

— Когда факельщики приходят за гробом. Как вынесут гроб, дверь сейчас же запирается.

— А кто заколачивает гроб?

— Я.

— Кто накрывает его покровом?

— Я.

— Вы бываете один в это время?

— Никто, кроме врача, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано.

— Могли бы вы ночью, когда все в обители уснут, спрятать меня в этой комнате?

— Нет. Но я могу вас спрятать в темной каморке рядом с покойницей,— я там держу мой инструмент для погребения, я за ней присматриваю, и у меня есть ключ от нее.

— В котором часу приедет завтра катафалк за гробом?

— В три часа пополудни. Хоронят на кладбище Вожирар, когда свечереет. Кладбище довольно далеко отсюда.

— Я спрячусь в вашей каморке с инструментом на всю ночь и на все утро. Но как быть с едой? Ведь я проголодаюсь.

— Я вам что-нибудь принесу.

— Вы могли бы прийти заколотить меня в гроб часа в два ночи.

Фошлеван отшатнулся и хрустнул пальцами.

— Это невозможно!

— Э, невелик труд — взять молоток и вбить несколько гвоздей в доски!

То, что Фошлевану казалось неслыханным, для Жана Вальжана было, повторяем, делом простым. Ему приходилось проскальзывать в любые щели. Кто бывал в тюрьме, тот познал искусство уменьшаться соответственно выходу на волю. Заключенный так же неизбежно приходит к попытке бегства, как больной к кризису, который исцеляет его или губит. Исчезновение — это выздоровление. А на что только не решаются, лишь бы выздороветь! Дать себя заколотить в ящик и унести, как тук с товаром, лежать в такой коробке долгое время, находить воздух там, где его нет, часами сберегать дыхание, уметь задышаться, не умирая, — вот один из мрачных талантов Жана Вальжана.

Впрочем, эта уловка каторжника — гроб, в который ложится живое существо, — была также и уловкой короля. Если верить монаху Остену Кастильхо, то к такому способу, желая в последний раз повидать г-жу Пломб, прибегнул после своего отречения Карл Пятый, чтобы ввести ее в монастырь святого Юста, а затем вывести оттуда.

Придя в себя, Фошлеван воскликнул:

— Но как же вы будете дышать?

— Уж как-нибудь буду.

— В этом ящике! Я только подумаю — и уже задыхаюсь.

— У вас, конечно, найдется буравчик, вы просверлите около моего рта несколько дырочек, а верхнюю доску приколотите не слишком плотно.

— Ладно. Ну, а если вам случится кашлянуть или чихнуть?

— Кто спасается бегством, тот не кашляет и не чихает, — заметил Жан Вальжан и добавил: — Дедушка Фошлеван! Надо на что-нибудь решиться: дать себя захватить здесь или выехать отсюда на погребальных дрогах.

Всем известна повадка кошек останавливаться у приотворенной двери и прохаживаться между ее створок. Кто из нас не говорил кошке: «Да ну, входи же!»? Есть люди, которые попав в неопределенное положение, так же склонны колебаться между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, внезапно закрывающей для них все выходы. Слишком осторожные, при всех их кошачьих свойствах и благодаря им, иногда подвергаются большей опасности, чем смельчаки. Фошлеван был человеком именно такого не-

решительного склада. Однако, вопреки его воле, хладнокровие Жана Вальжана покоряло его.

— И правда, другого средства не найдешь, — пробормотал он.

— Одно меня беспокоит: как все это пройдет на кладбище, — заметил Жан Вальжан.

— А вот это меня как раз и не тревожит! — воскликнул Фошлеван. — Если вы уверены, что выберетесь живым из гроба, то я уверен, что вытащу вас из ямы. Тамошний могильщик — пьяница. Это мой приятель, дядюшка Метьен. Старый пропойца. Мертвец у могильщика в яме, а сам могильщик у меня в кармане. Я вам объясню, как все произойдет. На кладбище мы приедем незадолго до сумерек, за три четверти часа до закрытия кладбищенских ворот. Похоронные дроги доедут до могилы. Я пойду следом; это моя обязанность. У меня с собой будут молоток, долото, клещи. Дроги останавливаются, факельщики обвязывают ваш гроб веревкой и спускают в могилу. Священник читает молитву, крестится, брызгает святой водой — и дело с концом. Мы остаемся вдвоем с дядюшкой Метьеном. Повторяю: он мой приятель. Одно из двух: или он уже будет пьян, или он еще не будет пьян. Если он не пьян, то я говорю ему: «Пойдем выпьем по стаканчику, пока не заперли «Спелую айву». Я его увожу, угощаю, — а дядюшку Метьена напоить недолго, он и так-то всегда под мухой, — потом укладываю его под стол, забираю его пропуск на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы уже имеете дело только со мной. Ну, а если он будет уже пьян, то я скажу ему: «Ступай себе, я сам все сделаю». Он уходит, а я вытаскиваю вас из ямы.

Жан Вальжан протянул ему руку, Фошлеван схватил ее с трогательной сердечностью крестьянина.

— Уговорились, дедушка Фошлеван. Все будет хорошо!

«Только бы прошло гладко, — подумал Фошлеван. — А вдруг беда стрясется!»

Глава пятая

БЫТЬ ПЬЯНИЦЕЙ ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ БЕССМЕРТНЫМ

На другой день к вечеру немногочисленные прохожие обнажали головы, встретив на Менском бульваре старинные похоронные дроги, украшенные изображениями черепов, берцовых костей и стеклянными слезками. На дрогах

гроб под белым покровом, на котором виднелся большой черный крест, напоминавший огромную покойницу со свисающими по обе стороны руками. Сзади следовала нарядная траурная карета, в которой можно было разглядеть священника в облачении и маленького певчего в красной скуфейке. Два факельщика в сером одеянии с черными галунами шли по левую и по правую сторону похоронных дрог. Сзади плелся хромой старик в одежде рабочего. Шествие направлялось к кладбищу Вожирар.

Из кармана рабочего высовывался молоток, долото и клещи.

Кладбище Вожирар представляло исключение среди парижских кладбищ. У него были свои порядки, свои ворота и своя калитка, которые у старожилов квартала, придерживавшихся старинных наименований, назывались воротами для возничих и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером, в особом углу кладбища — этот участок земли некогда принадлежал их общине. Для могильщиков, которые по этой причине работали там летом по вечерам, а зимой по ночам, были установлены особые правила. В те времена ворота парижских кладбищ запирались сразу после захода солнца, а так как приказ это исходил от городского управления, то он распространялся и на кладбище Вожирар. Ворота для возничих и ворота для пешеходов с двух сторон соприкасались решетками с павильоном работы архитектора Перроне, в котором жил кладбищенский сторож. Эти решетки неумолимо повертывались на своих петлях в ту самую минуту, когда солнце опускалось за купол Инвалидов. Если к этому времени какой-нибудь могильщик задерживался на кладбище, то у него оставалась только одна возможность выйти оттуда: предъявить пропуск, выданный ему бюро похоронных процессий. В ставню сторожки было вделано нечто почтового ящика. Могильщик бросал туда пропуск, сторож слышал звук падения, дергал за шнур, и ворота для пешеходов открывались. Если у могильщика пропуска не было, то он называл свое имя, и тогда сторож, иногда уже спавший, вставал с постели, опознавал могильщика и отпирал ключом ворота; могильщик выходил, уплачивая, однако, пятнадцать франков штрафа.

Это кладбище, со всеми его особенностями, выходившими за рамки общих правил, нарушало административное единообразие. Вскоре после 1830 года кладбище Вожирар закрыли. На его месте возникло кладбище Мон-Парнас,

унаследовавшее и граничивший с кладбищем Вожирар знаменитый кабачок, увенчанный нарисованной на доске айвой. Одной своей стороной он был обращен к столикам посетителей, а другой — к могилам. На вывеске его было выведено: «Под спелой айвой».

Кладбище Вожирар, что называется, отмирало. Им переставали пользоваться. Его завоевывали плесень, цветы покидали его. Буржуа не стремились быть похороненными на кладбище Вожирар; это свидетельствовало бы о бедности. Кладбище Пер-Лашез — это дело другое! Покоиться на кладбище Пер-Лашез — все равно что иметь обстановку красного дерева. В этом сказывался изящный вкус. Кладбище Вожирар, разбитое по образцу старинных французских садов и обнесенное оградой, представляло собой уголок, внушавший уважение. Прямые аллеи, буксы, туи, остролистники, старые могилы, осененные старыми тисами, высокая трава... Вечером от него веяло чем-то трагическим. В его очертаниях чувствовалась безысходная печаль.

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, въехал в аллею, ведущую к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромым старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницу — все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим кстати, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые совершаются ради исполнения долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения их совести. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, — вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего — монастырский устав; что же касается закона, — там видно будет. Люди! Сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю — это всего лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти — ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял за колесницей. Его два переплетавшихся заговора: один с монахинями, другой с г-ном Мадленом, один — в интересах монастыря, другой — в ущерб этим интересам, — удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана представляла собой то незыбле-

спокойствие, которое сообщается другим. Фошлеван не сомневался в успехе. Оставались сущие пустяки. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьена. Он обводил его вокруг пальца. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал каждому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

Когда похоронная процессия достигла аллеи, ведущей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал:

— Комедия!

Катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры со сторожем. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

— Вы кто будете? — спросил он.

— Могильщик, — ответил тот.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как в эту минуту у Фошлевана.

— Могильщик?

— Да.

— Вы?

— Я.

— Могильщик здесь дядюшка Метьен.

— Был.

— То есть как это был?

— Он умер.

Фошлеван был готов к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою.

Фошлеван остоленел.

— Не может быть! — заикаясь, пролепетал он.

— Очень даже может!

— Но могильщик — это же дядюшка Метьен! — слабо возразил Фошлеван.

— После Наполеона — Людовик Восемнадцатый. После Метьена — Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина!

Внезапно побледнев, Фошлеван всматривался в Грибье.

Это был высокий, тощий, с землистого цвета лицом, очень мрачный человек. Он напоминал неудачливого врача, который взялся за работу могильщика.

Фошлеван расхохотался.

— Бывают же такие смешные случаи! Дядя Метъен умер! Умер добрый дядюшка Метъен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. Старина Метъен умер! Да, жаль, он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Верно, приятель? Мы сейчас с вами пойдем пропустим по стаканчику.

— Я человек образованный. Я окончил четыре класса. Я не пью.

Погребальные дроги снова тронулись в путь и покатали по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаг. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван опять стал приглядываться к свалившемуся с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны.

— Приятель! — окликнул его Фошлеван.

Тот обернулся.

— Я могильщик из монастыря.

— Мой коллега, — отозвался могильщик.

Фошлеван, человек хотя и малограмотный, но весьма проницательный, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.

— Значит, дядюшка Метъен умер, — пробурчал он.

— Бесповоротно, — подтвердил могильщик. — Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метъену. И дядюшка Метъен умер.

— Господь бог... — машинально повторил Фошлеван.

— Да, господь бог, — внушительно повторил могильщик. — Для философов он — предвечный отец; для якобинцев — верховное существо.

— А не познакомиться ли нам поближе? — пробормотал Фошлеван.

— Мы это уже сделали. Вы — деревенщина. Я — парижанин.

— Пока не выпьешь вместе, по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку — раскупоришь и душу. Пойдем выпьем. От этого не отказываются.

— Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», — подумал Фошлеван.

До аллеи, ведущей к углу, где хоронили монахинь, оставалось несколько шагов.

— Деревенщина! — снова заговорил могильщик. — У меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

С удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

— Их голод — враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули кипарисы, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав по траве, углубились в чащу. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свой шаг, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая, размятая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла ход.

Фошлеван приблизился к могильщику.

— Там отличное аржантейльское вино! — прошептал он.

— Поселянин! — снова заговорил могильщик. — Мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Притане. Он мечтал о том, что я буду литератором. Но на него свалились несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Но я все-таки исполняю обязанности писца по вольному найму.

— Значит, вы не могильщик? — воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту хрупкую веточку.

— Одно другому не мешает. Я совмещаю эти две профессии.

Фошлеван не понял последнего слова.

— Пойдем выпьем, — сказал он.

Тут надо сделать одно замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, обходил молчанием один пункт: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метъен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник намеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Несмотря на все свои волнение, Фошлеван и не думал раскошелиться.

Могильщик продолжал, презрительно улыбаясь:

— Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метъена. У кого есть почти законченное образование, тот становится философом. Работу пером я сочетаю с работой заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы знаете тот рынок? Это Зонтичный рынок. Все кухарки из госпиталей Красного Креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам копаю могилы. Такова жизнь, селянин!

Похоронные дроги двигались вперед. Тревога Фошлева-на дошла до предела; он озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

— А между тем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка задело кучу земли, за которой виднелась отверстая могила.

— Комедия! — растерянно повторил Фошлеван.

Глава шестая

МЕЖ ЧЕТЫРЕХ ДОСОК

Кто лежал в гробу? Нам это известно. Жан Вальжан

Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было хоть и с трудом, но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойной совести зависит спокойствие человека вообще! Затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метъена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя себе представить положение более критическое; нельзя себе представить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины гроба он имел возможность наблюдать, и он наблюдал за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. Толчки становились реже — он понял, что с мосто-

вой съехали на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжают Аустерлицкий мост. Во время первой остановки он догадался, что подъехали к кладбищу; во время второй он сказал себе: «Могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподняли, потом слышалось трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы опустить его в яму.

Потом у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик качнули гроб и опустили его изголовьем вниз. Жан Вальжан окончательно пришел в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий душу торжественный голос раздался над ним. Над ним медленно, — так медленно, что он мог уловить каждое из них, — произносились латинские слова, которых он не понимал:

*Qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper*¹.

Детский голос ответил:

De profundis.

Строгий голос продолжал:

*Requiem aeternam dona ei, Domine*².

Детский голос ответил:

*Et lux perpetua luceat ei*³.

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.

«Скоро кончится! — подумал он. — Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

Строгий голос возгласил вновь:

*Requiescat in pace*⁴.

Детский голос ответил:

Amen.

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил что-то вроде удаляющихся шагов.

¹ «Спящие во прахе земли пробудятся: один на вечную жизнь, а другие на вечное мучение; пусть всегда это помнят» (лат.).

² «Вечный покой даруй ему, господи» (лат.).

³ «И да светит ему вечный свет» (лат.).

⁴ «Да почиет в мире» (лат.).

«Вот уже и уходят, — подумал он, — я один».

Вдруг он услышал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавший на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которое дышал Жан Вальжан, забилося землей.

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Бывают обстоятельства, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

Глава седьмая,

ИЗ КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЯСНИТ СЕБЕ, КАК ВОЗНИКЛА ПОГОВОРКА: «НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ»

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и певчий уселись в траурную карету и уехал, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

— Я плачу!

Могильщик удивленно взглянул на него.

— Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

— Я плачу!

— За что?

— За вино.

— За какое вино?

— За аржантейльское.

— Где оно, твое аржантейльское вино?

— В «Спелой айве».

— Пошел к черту! — буркнул могильщик и сбросил землю с лопаты в могилу.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

— Скорей, приятель, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик набрал еще на одну лопату земли. Фошлеван продолжал.

— Я плачу! — повторил Фошлеван и схватил могильщика за локоть. — Послушай, приятель! Я монастырский могильщик, я пришел к тебе подсобить. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем выпьем по стаканчику.

Продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал: «А вдруг он выпьет да не охмелеет?»

— Если вам так хочется, провинциал, я согласен, — сказал могильщик. — Выпьем. Но после работы, не раньше.

С этими словами он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

— Это аржантейльское вино, — по шесть су!

— Ах вы, звонарь! — сказал могильщик. — Динь-дон, динь-дон, только это вы и знаете. Пойдите прогуляйтесь.

И опять сбросил с лопаты землю.

Фошлеван сам не понимал, что говорит.

— Да идемте же выпьем! — крикнул он. — Ведь платить-то буду я!

— После того как уложим ребенка спать, — сказал могильщик и в третий раз сбросил с лопаты землю.

— Видите ли, ночью будет холодно, — воткнув лопату в землю, добавил он, — и покойница начнет звать нас, если мы оставим ее без одеяла.

Тут могильщик, набирая землю лопатой, нагнулся, и карман его блузы оттопырился.

Блуждающий взгляд Фошлевана упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; в глубине кармана можно было разглядеть что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули с яркостью, удивительной для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенило.

Осторожно, чтобы не заметил могильщик, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил белый предмет.

Могильщик в четвертый раз сбросил с лопаты в могилу землю.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую лопату, Фошлеван с самым невозмутимым видом сказал:

— Кстати, новичок, а пропуск при тебе?

Могильщик приостановился.

— Какой пропуск?

— Да ведь солнце-то заходит!

— Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.

— Сейчас запрут кладбищенские ворота.

— И что же дальше?

— А пропуск при тебе?

— Ах, пропуск!

Могильщик стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

— Нет, — сказал он, — у меня нет пропуска... Должно быть, забыл его дома.

— Пятнадцать франков штрафу, — заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

— А, разрази их господь! — воскликнул он. — Пятнадцать франков штрафу!

— Три монеты по сто су, — пояснил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

— Ну, ну, юнец, — сказал Фошлеван, — не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков — это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не платить. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно: солнце заходит, оно уже достигло купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

— Это верно, — согласился могильщик.

— За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут кладбище.

— Правильно.

— В таком случае с вас пятнадцать франков штрафу.

— Пятнадцать франков!

— Но время еще есть... Вы где живете?

— В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

— Время у вас еще есть, если только вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

— Это верно.

— Как только вы окажетесь за воротами, мчитесь домой, берите пропуск, бегите обратно, сторож вас впустит. А раз у вас будет пропуск, платить не придется. И тогда

уже вы зароете покойника: А я постерегу его, чтобы он не сбежал.

— Я обязан вам жизнью, провинциал!

— А ну, живо! — скомандовал Фошлеван.

Вне себя от радости, могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся среди деревьев и шаги его замерли, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

— Дядюшка Мадлен!

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а скатился в могилу, припал к изголовью гроба и крикнул:

— Вы здесь?

В гробу царила тишина.

Фошлеван, еле переводя дух — так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал у крышки гроба верхнюю доску. В сумеречном свете он увидел лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан, мертвенно-бледный, лежал неподвижно.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

— Он умер!

Снова выпрямившись, он с такой яростью скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

— Так вот как я спас его! — вскричал он.

Бедняга, всхлипывая, заговорил сам с собой. Принято думать, что монолог несвойствен человеческой природе, — это неверно. Сильное волнение нередко заявляет о себе во всеуслышание.

— В этом виноват дядюшка Метьен, — причитал он. — Ну с какой стати этот дуралей умер? Зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ожидал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен! Вон он лежит в гробу! Он достиг всего. Конечно! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка? Что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, да разве это возможно? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я говорил ведь! Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я останусь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же

было старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться старыми дураками! Как же это он все-таки попал в монастырь? С этого все и началось. Нельзя проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Не слышит. Попробуйте-ка теперь выкрутиться!

Фошлеван стал рвать на себе волосы.

Издали слышался скрип. Запирали ворота.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном, но вдруг подскочил и отшатнулся, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты и смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение почти так же жутко. Фошлеван окаменел; бледный, растерянный, потрясенный всеми этими необычными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

— Я уснул, — сказал Жан Вальжан и привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

— Пресвятая дева! Ну и напугали же вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

— Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в чувство.

Радость — отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

— Так вы не умерли! Ну до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, я сказал себе: «Так! Ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы! Вот счастье-то!

— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти два человека, даже придя в себя, все еще, сами того не понимая, испытывали душевное смятение; в них говорило необыкновенное чувство, порожденное мрачной уединенностью этого места.

— Уйдем скорее отсюда! — воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

— Но сначала хлебните, — сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Фошлеван был теперь спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

— Идем. Я возьму лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

— Вы зачоченели? — спросил Фошлеван. — Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

— Пустяки! — ответил Жан Вальжан. — Два-три шага, и я снова научусь ходить.

Они шли теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертых ворот и сторожки, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, сторож дернул за шнур, дверь отворилась, и они вышли.

— Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! — сказал Фошлеван.

Они беспрепятственно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

— Дядюшка Мадлен! — всматриваясь в дома, сказал Фошлеван. — Вы видите лучше моего. Покажите, где номер восемьдесят седьмой?

— Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан.

— На улице никого нет,— продолжал Фошлеван.— Дайте мне заступ и подождите минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верх, повинувшись инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и в темноте постучал в дверь мансарды. Чей-то голос сказал:

— Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все подобные ей убогие жилища, представляла собой лишенную убранства каморку. Ящик для упаковки товара — а может быть, гроб — служил комодом, горшок из-под масла — посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучу, худая женщина и дети.

Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было ясно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, — от кружки до жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Фошлеван стремился к развязке, а потому не обратил внимания на печальную сторону своего успеха.

— Я принес ваш заступ и лопату,— сказал он, войдя.

Грибье с изумлением взглянул на него.

— Это вы, поселянин?

— А завтра утром вы получите у сторожа пропуск.

Он положил на пол лопату и заступ.

— Что это значит? — спросил Грибье.

— Это значит, что вы выронили из кармана пропуск, а когда вы ушли, я нашел его на земле; покойницу я похоронил, могилу засыпал, работу вашу выполнил, привратник вернет вам пропуск, и вы не уплатите пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

— Благодарю вас, провинциал! — в восторге вскричал Грибье.— В следующий раз за выпивку плачу я!

Глава восьмая
УДАЧНЫЙ ДОПРОС

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал.

Это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта.

Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на Зеленую дорогу, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктовщица забрасывала Козетту вопросами, но та вместо ответа смотрела на нее мрачным взглядом. Козетта ничего не видела из того, что видела и слышала в течение последних двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!». Страх нем. Лучше всех хранят тайну дети.

Но когда по прошествии мучительных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что если б его услышал человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье человека, которого только что извлекли из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним отворились.

Так была разрешена двойная страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз напротив ворот. Привратник впустил всех троих, и они дошли до внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек свечи освещал, вернее, — силлся осветить, приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Особенно зорким был ее взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

— Вы его брат?

— Да, матушка, — ответил Фошлеван.

— Ваше имя?

— Ультим Фошлеван.

У него был брат Ультим, давно умерший.

— Откуда вы родом?

— Из Пикиньи, близ Амьена, — ответил Фошлеван.

— Сколько вам лет?

— Пятьдесят, — ответил Фошлеван.

— Чем вы занимаетесь?

— Я садовник, — ответил Фошлеван.

— Добрый ли вы христианин?

— В нашей семье все добрые христиане, — ответил Фошлеван.

— Это ваша малютка?

— Да, матушка, — ответил Фошлеван.

— Вы ее отец?

— Я ее дед, — ответил Фошлеван.

Мать-изборщица сказала настоятельнице вполголоса:

— Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и шепнула матери-изборщице:

— Она будет дурнушкой.

Монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:

— Дедушка Фован! Вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.

И правда, на следующий день в саду раздавался звон уже двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушение приподнять кончик покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю — Фован и кто-то еще. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено — монахини сообщили друг другу:

— Это помощник садовника.

А матери-изборщицы прибавляли:

— Это брат дедушки Фована.

Жан Вальжан вступил в должность по всем правилам: у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Звали его Ультим Фошлеван.

Главное, что заставило настоятельница принять его на службу, это ее впечатление от Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность, вот почему девушки, сознающие, что они красивы, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда вытекает живой интерес к дурнушкам.

Это происшествие возвеличило старика Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матери Распятие под алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб — на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была велика. Фошлеван считался теперь лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. Когда монастырь посетил архиепископ, настоятельница рассказала обо всем его высокопреосвященству, как будто бы и каясь, а вместе с тем и хвалясь.

Архиепископ, уехав из монастыря, одобрительно шепнул об этом духовнику его высочества де Латилю, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. Слава Фошлевана дошла до Рима. Мы видели записку папы Льва XII к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию — делла Женга; в ней есть такие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в *Illustrated London News*¹ с подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

¹ «Лондонские иллюстрированные новости» (англ.).

ЖИЗНЬ В ЗАТОЧЕНИИ

Козетта и в монастыре продолжала молчать.

Козетта считала себя дочерью Жана Вальжана, что было вполне естественно. Но, ничего не зная, она ничего не могла рассказать, а если б и знала, все равно бы никому не сказала. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, — мы уже об этом говорили. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. С монастырем она освоилась довольно быстро. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Как воспитанница монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионерки. Жану Вальжану удалось упротребить, чтобы ему отдали снятую ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он переодел ее, когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платье вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в чемоданчик, который умудрился себе раздобыть, и все пересыпал камфорой и благовонными веществами, распространенными в монастырях. Чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него носил с собой.

«Отец! Что это за ящик, который так хорошо пахнет?» — как-то спросила его Козетта.

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».

Если бы эти святые души обладали долей проницательности Жавера, то они бы в конце концов заметили, что всякий раз, когда приходилось выходить за пределы монастыря по делам садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромым Фошлеван-старший, а другой никогда не выходил. Потому ли, что взор, устремленный к богу, не умеет шпионить, потому ли,

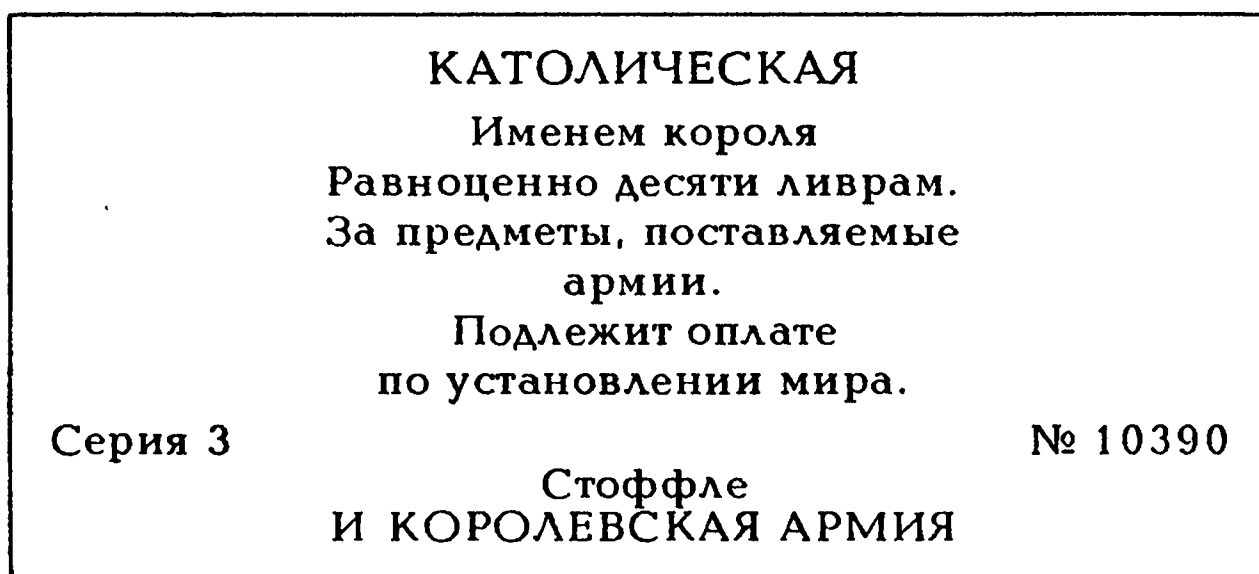
что монахини были заняты главным образом тем, что следили друг за другом, но только они не обращали на это внимания.

Впрочем, хорошо, что Жан Вальжан оставался в тени и нигде не показывался. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Эти четыре стены представляли для него вселенную. Здесь он мог видеть небо, — этого было достаточно для душевного спокойствия, — и Козетту — этого было достаточно для его счастья.

Для него вновь началась счастливая жизнь.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. В этом домишке, сколоченном из строительных отходов и еще существовавшем в 1845 году, было, как известно, три совершенно пустые, с голыми стенами, комнаты. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, помимо двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим:



Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он ими воспользовался. Почти все деревья в саду одичали; он привил их, и они опять стали приносить чудесные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему

на час. Сестры были всегда мрачными, а он приветлив, и девочка обожала его. В определенный час она прибегала в сторожку. С ее приходом здесь воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье растет от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

А Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное выражение. Смех — это солнце: оно прогоняет с человеческого лица зиму.

Не будучи красивой, Козетта становилась прилестной; голос у нее был по-детски нежный, и она мило болтала.

Когда, по окончании рекреации, Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда Провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, но с некоторых пор он начал сравнивать себя с другими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в то время, которое можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, — отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззакония закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их.

Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бесконечной винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал своих товарищей. Как они были несчаст-

ны! Поднимаясь с зарей, они трудились до поздней ночи; им почти не оставалось времени для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; на них были отвратительные красные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особенно тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номерами и как бы превращенные в цифры, они жили не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклеянные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.

Эти существа тоже были острижены; они жили тоже не поднимая глаз, не повышая голоса; их удел был не позор, но насмешки; их спины не были избиты палками, зато плечи истерзаны бичеванием. Их имена были тоже утрачены для мира; у них были только строгие прозвища. Они никогда не ели мяса, не пили вина; часто ничего не ели до самого вечера; на них были не красные куртки, а шерстяные черные саваны, слишком тяжелые для лета, слишком легкие для зимы, и они не имели права ничего убавить в своей одежде и ничего к ней прибавить; у них не было даже в запасе, на случай холода, ни холщовой одежды, ни шерстяного верхнего платья; полгода они носили грубые шерстяные сорочки, от которых их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец им не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, они, изнеможенные, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной молельни.

Все эти создания должны были поочередно стоять на коленях двенадцать часов подряд на каменных плитах пола или лежать, распростершись ниц, раскинув руки крестом.

Те существа были мужчины; эти — женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были разбойники, фальшивомонетки, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там — разбой, мошенничество, воровство, насилие, раз-

врат, убийство, все виды кощунства, разнообразие преступлений; здесь же — невинность.

Невинность чистейшая, почти вознесенная над землей в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая и к небу своею святостью.

Там — признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь — исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там — миазмы, здесь — благоухание. Там — нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных; здесь — чистое пламя душ, возжженное на едином очаге. Там — мрак, здесь — тень, но тень, полная озарений, и озарения, полные лучистого света.

И там и здесь — рабство; но там возможность освобождения, предел, указанный законом, наконец, побег. Здесь — рабство пожизненное; единственная надежда — и лишь в самом далеком будущем — тот брезжущий луч свободы, который люди называют смертью.

К тому рабству люди прикованы цепями; к этому — своей верой.

Что исходит оттуда? Неслыханные проклятия, скрежет зубовой, ненависть, злоба отчаяния, вопль возмущения человеческим обществом, хула на небеса.

Что исходит отсюда? Благословение и любовь.

И вот в этих столь похожих и столь разных местах два вида различных существ были заняты одним и тем же — искуплением.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, — искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупление чужих грехов, взятое на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего? Какое искупление?»

А голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия — искупление чужих грехов».

Наше мнение по этому поводу мы оставляем при себе — мы являемся здесь только рассказчиком; мы становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед ним была высшая ступень самоотверженности, вершина добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние, добровольное рабство, приятие мученичества, страдание, которого просят души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней

не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он еще смеет роптать!

Нередко он вставал ночью, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод пробежал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто были наказаны справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства, и что он, несчастный, тоже когда-то восставал против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоление ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение — все усилия, предпринятые им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это его судьбы? Он глубоко задумался над этим, словно внимая тихому, предостерегающему голосу провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, но он не представлял себе ничего подобного.

Он опять увидел решетки, замки, железные засовы; кого же должны они были стеречь? Ангелов.

Когда-то он видел высокие стены вокруг тигров; теперь он видит их опять, но вокруг агнцев.

Это было место искупления, а не наказания; между тем оно было еще суровее, утрюмее, еще беспощаднее, чем то. Девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранной решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал об этом, все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого.

Во время таких размышлений гордость исчезает. Он рассматривал себя со всех сторон и, сознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение полугода, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта — путем любви, монастырь — путем смирения.

В сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, возле молельни; он стоял на коленях под окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, лицом

туда, где, как ему было известно, лежала распростертая в искупительной молитве сестра-монахиня. И, преклонив перед нею колена, молился.

Перед богом он словно не осмеливался преклонить колена.

Все, что окружало его, — мирный сад, благоухающие цветы, дети, их радостный гомон, простые, серьезные женщины, тихая обитель, — медленно овладевало им, и постепенно в его душу проникли тишина монастыря, благоухание цветов, мир сада, простота женщин, радость детей. И он думал, что это два божьих дома, приютивших его в роковые минуты его жизни: первый — когда все двери были для него закрыты и человеческое общество оттолкнуло его; второй — когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь перед ним открывалась каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Прошло много лет. Козетта подросла.

B.L

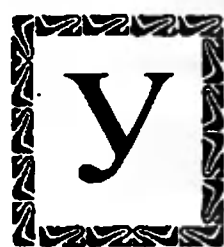
ЧАСТЬ III
МАРИУС



ПАРИЖ, ИЗУЧАЕМЫЙ ПО ЕГО АТОМУ

Глава первая

PARVULUS¹



Парижа есть ребенок, а у леса — птица; птица зовется воробьем, ребенок — гаменом. Сочетайте оба эти понятия — печь огненную и утреннюю зарю, дайте обоим этим искрам — Парижу и детству — столкнуться, — возникнет маленькое существо. *Нотипсио*², сказал бы Плавт.

Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не каждый день случается поехать в театр, если вздумается, этот человечек ходит каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой; он вечно рыщет, что-то выискивает, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чем свет стоит, шляется по кабачкам, знается с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина — невинность, а жемчуг не растворяется в грязи.

¹ Дитя (лат.).

² Человечек (лат.).

Пока человек еще ребенок, богу угодно, чтобы он оставался невинным.

Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» — он ответил бы: «Мое дитя».

Глава вторая

НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЕГО ПРИЗНАКИ

Парижский гамен — это карлик при великане.

Не будем преувеличивать: у нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная; у него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок; у него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа; свои метафоры: умереть на его языке называется «сыграть в ящик»; свои ремесла: приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожную пошлину за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителем власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями; у него свои деньги: подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти необычные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу.

Есть у него также и своя фауна, за ней он прилежно наблюдает по закоулкам: божья коровка, тля «мертвая голова», паук «коси-сено», «черт» — черное насекомое, которое угрожающе вертит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище; брюхо чудовища покрыто чешуей — но это не ящерица, на спине бородавки — но это не жаба; живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах; оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел; он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями — удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие — быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится своими интересными находками. На дровяных складах монастыря урсулинок водятся ухвертки, близ

Пантеона — тысяченожки, во рвах Марсова поля — головки.

«Словечек» у этого ребенка не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но он порядочней его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника диким хохотом. Он легко переходит от высокой комедии к фарсу.

Проходит похоронная процессия. Среди провожающих покойника — доктор. «Гляди-ка! — кричит гамен. — С каких это пор доктора сами доставляют свою работу?»

Другой затесался в толпу. Солидный мужчина в очках, при брелоках, возмущенно оборачивается: «Негодяй! Как ты посмел завладеть талией моей жены?» — «Что вы, сударь! Можете обыскать меня».

Глава третья

ОН НЕ ЛИШЕН ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, *hотипсио* отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преобразается. Он был гаменом, он становится «тютю»¹. Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тютю. Между тютю и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой; то же существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз.

Одарите живое существо всем бесполезным и отнимите у него все необходимое — и вы получите гамена.

Гамен не лишен художественного чутья. Однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей гамен не очень академичен. Так, например, мадемуазель Марс пользовалась у этих юных, буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее «мадемуазель Шептунья».

¹ Мальчик из рабочей семьи, житель парижских предместий. (Прим. автора.)

Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется; оно обмотано в тряпки, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвыш что-то удит в сточных водах, за чем-то охотится по клоакам; в нечистотах находит предмет веселья; вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках; издевается, свистит, язвит и напевает; равно готов и обласкать и оскорбить; способен умерить торжественность «Аллилуйи» какой-нибудь залихватской «Матантюрюретой»; поет на один лад все существующие мелодии, от «упокой, господи» до озорных куплетов. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает; он спартанец даже в мошенничестве, безумец даже в благоразумии, лирик даже в сквернословии. С него случилось бы присесть под кустик и на Олимпе; он мог бы вывалиться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен — это Рабле в миниатюре.

Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов.

Он редко бывает удивлен, еще реже — испуган. Высмеивает в песенках суеверия, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью. Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки; вовсе нет! Он просто склонен рассматривать торжественные видения как шуточные фантасмагории. Предстань перед ним Адаматор, гамен, наверное, сказал бы: «Вот так чучело!»

Глава четвертая

ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

Париж начинается зевакой и кончается гаменом — двумя существами, каких неспособен породить никакой другой город; пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевачка — воплощение монархического начала. Гамен — анархического.

Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, «зацветает» и «расцветает» в страданиях, в гуще социальной действительности и человеческих дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя безза-

ботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь Преподсудком, Злоупотреблением, Подлостью, Угнетением, Насилием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, берегитесь гамена, хотя он и глазет, разинув рот.

Этот малыш вырастет.

Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут — и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Дайте срок, *currit rota*¹, и дух Парижа, этот демон, создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору.

Глава пятая

ГРАНИЦА ЕГО ВЛАДЕНИЙ

Гамен любит город, но, поскольку в гамене живет мудрец, он любит и уединение. *Urbis amator*², как Фуск; *ruris amator*³, как Гораций.

Задумчиво бродить, то есть прогуливаться прогулки ради, — самое подходящее времяпровождение для философа. В особенности бродить по этому подобию деревни, по этой ублюдочной, достаточно безобразной, но своеобразной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и в частности Париж. Наблюдать окраины — все равно что наблюдать амфибию. Конец деревьям — начало крышам, конец траве — начало мостовой, конец полям — начало лавкам, конец мирному житью — начало страстям, конец божественному шепоту — начало людскому говору, — вот что придает окраинам особый интерес.

¹ Вертится колесо (лат.).

² Любитель столицы (лат.).

³ Любитель села (лат.).

Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности, раз и навсегда заклеянные прохожими эпитетом «печальные».

Пишущий эти строки и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами; это оставило неизгладимый след в его памяти. Подстриженный газон, каменистые тропинки, меловая, мергелевая или гипсовая почва, суровое однообразие лежащих под паром или невозделанных полей, огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, смесь дикости с домовитостью, обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, — все это привлекало его.

Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная, испещренная пулями стена Гренель, Мон-Парнас, Фос-о-Лу, Обье на крутом берегу Марны, Мон-Сури, Томб-Исуар, Пьер-Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская Кампанья есть некое обобщенное понятие; парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взорам картинах — значит скользить по поверхности. Все зримые предметы суть мысли божии. Местность, где равнина сливается с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышатся и голос природы и голос человека. Здесь все полно своеобразия.

Тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по примыкающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа, наверное, не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором, или в углу у какой-нибудь мрачной стены, шумные ватаги дурно пахнущей, грязной, запыленной, оборванной, нечесаной, но в венках из васильков, детворы, играющей в денежки. Все это — дети бедняков, покинувших свой дом. За чертой города им легче дышится. Предместье — их стихия. Они про-

падают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно исполняют они весь свой репертуар непристойных песен. Это за-всегда и предместья; вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, играют в камушки, загоняя их ударом большого пальца в яму, и препираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Эти необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям.

Иногда среди мальчиков попадаются и девочки — их сестры, быть может? — почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатыми лицами, веселые, пугливые, босоногие, с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам.

Париж — центр, его предместья — окружность; вот, в представлении детей, и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им так же не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. За два лье от заставы для них начинается пустота; Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази-ле-Руа, Биланкур, Медон, Исси, Ванвр, Севр, Пюто, Нельи, Женевилье, Коломб, Роменвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгьен, Нуазиле-Сэк, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес — этим кончается вселенная.

Глава шестая

НЕМНОЖКО ИСТОРИИ

В эпоху, когда происходят описываемые в нашей книге события, кстати сказать, почти нам современную, — на углу каждой улицы не стоял, как ныне, постовой (принесло ли это пользу — об этом здесь не время распространяться), и

Париж кишел тогда маленькими бродягами. Из статистических данных явствует, что полицейскими облавами на неотгороженных пустырях, в строящихся зданиях и под сводами мостов ежегодно задерживалось в среднем до двухсот шестидесяти бесприютных детей. В одном из таких стяжавших себе известность гнезд вывелись «ласточки Аркольского моста». Вообще же говоря, это самый грозный из симптомов всех общественных болезней. Все преступления взрослых людей берут свое начало в бродяжничестве детей.

Однако для Парижа надо сделать исключение. Несмотря на вышеприведенную справку, Париж до известной степени имеет на это право. Тогда как во всяком другом большом городе маленького бродягу можно уже заранее считать человеком погибшим, тогда как почти везде ребенок, предоставляемый самому себе, как бы уже самой судьбой обречен погрязнуть в пороках нашего общества, отнимающих у него честь и совесть, парижский гамен, такой искушенный и испорченный с виду, остается — мы на этом настаиваем — внутренне почти нетронутым. Это замечательное явление особенно ярко выражено в изумительной честности наших народных революций; как в водах океана — соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи. Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу.

Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встречаешь этих детей, за которыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связывающих их с семьей. При нынешнем столь еще несовершенном состоянии цивилизации существование таких распадающихся семей, которые стараются потихоньку освободиться от лишних ртов, равнодушны к участи собственных детей и выбрасывают свое потомство на улицу, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Отсюда происхождение безродных людей. Это печальное явление стало настолько обыденным, что сложилось даже особое выражение: «Быть выкинутым на парижскую мостовую».

Укажем попутно, что старую монархию не беспокоило подобное небрежение к детям. Существование некоторого количества праздношатающихся и бродяг в низших слоях общества входило в интересы высших сфер и было на руку власти имущим. «Вред» распространения образования среди детей простого народа был возведен в догму. «Нам не нужны недоучки» — это стало требованием дня. А детское невежество логически вытекает из детской бесприютности.

Впрочем, по вечерам монархия испытывала нужду в детях и в таких случаях производила очистку улиц.

При Людовике XIV, чтоб не заходить слишком далеко, — по желанию короля, и желанию весьма разумному, — было решено создать флот. Идея сама по себе хорошая, но посмотрим, какими средствами она осуществлялась. Флот немислим, если наряду с парусными судами, являющимися игрушкой ветра, не существует судов, свободно передвигающихся в любом направлении с помощью весел или пара. Место нынешних пароходов в те времена занимали во флоте галеры. Следовательно, нужно было обзавестись галерами. Но галеры не могут обойтись без гребцов. Следовательно, нужно было обзавестись гребцами. Кольбер, при посредстве провинциальных интендантов и парламентов, увеличивал, сколько мог, число каторжников. Судейские весьма услужливо шли ему в этом навстречу. Человек не снял шляпы перед проходившей мимо церковной процессией — гугенотская повадка! — его отправляли на галеры. Попадался мальчишка на улице, и если только оказывалось, что он уже достиг пятнадцатилетнего возраста и у него нет приюта, — его отправляли на галеры. Великое царствование, великий век!

При Людовике XV в Париже наблюдались случаи исчезновения детей. Полиция похищала их в каких-то неведомых, таинственных целях. Люди с ужасом перешептывались и строили чудовищные предположения относительно яркого цвета королевских ванн. Барбье простодушно повествует об этом. Случалось, что полицейские из-за нехватки детей забирали и таких, у которых были родители. Отцы в отчаянии набрасывались на полицейских. Тогда вмешивался в дело парламент и приговаривал к повешенью... Кого? Полицейских? Нет, отцов!

Глава седьмая

ГАМЕНЫ МОГЛИ БЫ ОБРАЗОВАТЬ ИНДИЙСКУЮ КАСТУ

Парижские гамены — это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ.

Слово «гамен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа Клод Ге. Разразился скандал. Но слово привилось.

Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что видел, как человек упал с колокольни Собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола Дома инвалидов и «стибрить» там малую толику свинца. Третий — потому, что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один — потому, что «знавал» солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа.

Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена — глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные: *«Господи боже мой! Какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа!»* (причем мне произносилось, как мне, а этаж, как этаж).

Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин: «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни; почему ты не позвал доктора?» — «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать *самосильно*». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное выражение в нижеследующем: преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. «Он разговаривает с попом! — негодуяще восклицает дитя Парижа. — Экий трус!»

Некоторая смелость в вопросах религии придает гамену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим.

Присутствовать при казнях — его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шуточные прозвища: «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая (небесная) мамаша», «Последний глоточек» и т. д. и т. д. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен — прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтес — самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиганьем. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес

слова, исполненные предчувствия собственной судьбы: «Я ему завидовал». Никто среди гаменов не слышал о Вольтере, но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между «политиками» и убийцами. Предание о том, кто какой имел вид в свой последний час, сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль — в меховой фуражке, Лувель — в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Будет вам делить вашу корзину!» — крикнул им какой-то гамен. Другой, желая посмотреть, как повезут Дебакера, но из-за малого своего роста ничего не видя в толпе, облюбовывает фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм! — просит гамен и, чтобы задобрить служителя власти, добавляет: — Я не свалюсь». — «А мне-то что, свалишься ты или нет», — отвечает жандарм.

Большое значение придают гамены несчастным случаям. Наивысший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, «до самой кости», порезаться.

Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак. Излюбленная фраза гамена: «Я здорово сильный. Во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза — весьма ценным качеством.

Глава восьмая,

В КОТОРОЙ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОДНОЙ МИЛОЙ ШУТКЕ ПОСЛЕДНЕГО КОРОЛЯ

С наступлением лета гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с угольной баржи или мостков, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил, он бросается вниз головой в Сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но, поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от гамена к гамену. Он скандируется, как строфа Гомера

ра, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопеи элевзинских празднеств, в нем слышится античное «Эвоз!». Вот этот клич: «Гэй, тютти, ге-эй, не заразись! Фараоны близко, шевелись, собирай свои пожитки, живо, сточной трубы держись!».

Кое-кто из этой мошкары, как они себя называют, умеет читать, кое-кто — писать, но рисовать, с грехом пополам, умеют все. Какими-то таинственными путями взаимного обучения гамен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848 малевал на всех стенах груши. Раз летним вечером Луи-Филлип, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гамен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может «попов». Как-то на Университетской улице одного из таких шельмецов застали рисующим нос на воротах дома № 69. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его прохожий. «Здесь живет поп», — ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в гамене силен вольтерьянский дух, он не прочь при случае поступить в церковный хор, и тогда он добросовестно исполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, — низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны.

Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам. Изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге, читает он в душе полицейских и живо, без запинки отрапортует вам: «Вот этот — ябеда; этот — злюка; этот — задавака; этот — сущая умора (все эти слова: ябеда, злюка, задавака, умора — имеют в его устах особый смысл); а вот тот вообразил себя хозяином Нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил; а вот у этого прескверная привычка драть людей за уши» и т. д. и т. д.

Глава девятая

ДРЕВНИЙ ДУХ ГАЛЛИИ

Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена — сына рынка; было оно и у Бомарше. Гаменство — разновидность галльского характера. Примешанное к здравому смыслу, оно придает ему порой крепость, как вино — алкоголь, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гаменствует. Камилл Демулен был жителем предместий. Шампионе, невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на парижской мостовой. Еще мальчишкой он «орошал» паперти церквей Сен-Жан-де-Бове и Сент-Этьен-дю-Мон. А усвоив привычку бесцеремонно «тыкать» раке святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого Януария.

Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но у него прекрасные глаза — потому что он умен. В присутствии самого Иеговы он не постеснялся бы вприпрыжку, на одной ножке, взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости: миг — и сорвиголова становится героем. Подобно маленькому фиванцу, потрясает он львиной шкурой. Барабанщик Бара был парижским гаменом. Как конь Священного писания подает голос «Гугу!», так он кричит: «Вперед!», и мальчонка мгновенно вырастает в великана.

Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бара.

Итак, делаем вывод: гамен — существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.

Глава десятая

ЕССЕ PARIS, ЕССЕ НОМО¹

А теперь сделаем еще один вывод: парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский *graeculus*². Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе.

¹ Се Париж, се человек (лат.).

² Грек (презрительно) (лат.).

Гамен — краса нации и вместе с тем — ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением.

Учение оздоравливает.

Учение просвещает.

Источником всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей! Дайте им свет знаний, чтобы они могли согревать вас! Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоюет признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется под давлением французской передовой мысли решать, на ком остановить выбор: на истинном сыне Франции или на гамене Парижа; на ярком пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества.

Гамен — олицетворение Парижа, а Париж — олицетворение мира.

Ибо Париж всеобъемлющ, Париж — мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории человечества, а в разрывах — небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий — городская ратуша, свой Парфенон — Собор Парижской Богоматери, свой Авентинский холм — Сент-Антуанское предместье, свой Азинарий — Сорбонна, свой Пантеон — тоже Пантеон, своя Священная дорога — бульвар Итальянцев, своя башня ветров — общественное мнение. И он не сбрасывает с Гемоний — он отдает на посмеище. Его *majo*¹ зовется хлыщом, транстеверинец — жителем предместья, *hamtal*² — крючником, ладзорани — мазуриком, кокни — фатом. Все, что существует где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику эврипидовой зеленщице; дискобол Веян оживает в канатном плясуне Фориозо; воин Ферапонтигон мог бы пройтись под ручку с гренадером Вадебонкером; антикварий Дамасип, наверно, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом; Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажен Агорой в тюрьму; если Куртилусу принадлежит такое изобретение, как жареный еж, то Гримо де ла Реньеру — такое, как ростбиф в сале; в шарообразном куполе арки

¹ Щеголь (исп.).

² Носильщик (арабск.).

Звезды мы видим возрожденной трапедию Плавта; повстречавшийся Апулею пожиратель мечей с афинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на Новом мосту; племянник Рамо и прихлебатель Куркульон составили бы превосходную парочку; д'Эгрфейль не преминул бы познакомить Эргасила с Камбасересом; четырех римских щеголей — Алкесимарха, Федрома, Диабола и Аргириппа — в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатю; Авл Гелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем; правда, Мартон нельзя назвать неумолимой, но и Пардалиска не была непреклонной; весельчак Пантолаб и сейчас потешается в английском кафе над гулякой Номентаном; Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись Бобешем, расхаживает возле него и собирает пожертвования; назойливый субъект, который останавливает вас в Тюильри, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Фесприона: *Quis prope rantem me prehendit pallio?*¹; сюренское вино — подделка албанского, а налитый до краев бокал Дезожье ничем не уступает полной чаше Балатрона; в дождливые ночи от ПерЛашез исходит такое же свечение, как от Эсквилина; купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого напрокат гроба рабов.

Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера; Эргафил воскресаает в Калиостро; брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен; чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске.

У Парижа есть свой Эзоп — Майе, своя Канидия — девица Ленорман. Как некогда Дельфы, и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона — верчением треножников. Пусть Рим возводил на трон куртизанок, — он возводит на него гризеток; в конце концов если Людовик XV и хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и гасконским краснобайством, Париж создает небывалый тип человека, который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав мессиво из Диогена, Иова и Паяца, нарядив призрак в старые

¹ Спешу я. Кто за плащ хватает? (лат.) — из комедии Плавта «Эпидик».

номера Конституционалиста, он производит на свет божий Шодрюка Дюкло.

Хотя Плутарх и говорит, что «тирана ничто не смягчит», при Сулле и Домициане Рим был смирен и безропотно разбавлял вино водой. Тибр, если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты: *Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem oblivisci*¹, — говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу.

А при всем том Париж — добрый малый. Он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах; его Венера — из готтентоток; он готов все простить, только бы посмеяться; физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает; ежели ты затейник — будь хоть мошенник; его не возмущает даже лицемерие — эта последняя степень цинизма; он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении дона Базилио, а молитва Тартюфа шокирует его не больше, чем Горация «икота» Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика.

Разумеется, бал в саду Мабиль — не полимнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантереей вразнос выслеживает там лоретку, точь-в-точь как сводня Стафила — девственницу Планесию. Разумеется, застава Боев не Колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саге; однако если Вергилий был завсегдаем римских трактиров, то Давид д'Анже, Бальзак и Шарле сиживали за столиками парижских кабачков. Париж царит. Здесь блещут гении и процветают шуты. Здесь на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай, и сюда же въезжает на своей ослице Силен. Силен — читай Рампоно.

Париж — синоним космоса. Париж — это Афины, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Здесь частично представлены все виды культур и все виды варварства.

Отнять у Парижа гильотину — значило бы сильно его раздосадовать.

Гревская площадь в небольшой дозе не вредна. Мог ли

¹ Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра — значит забывать о мятеже (лат.).

такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капля по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.

Глава одиннадцатая

ГЛУМЯСЬ, ВЛАСТВОВАТЬ

Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъяремными, осмеивая их. «Понравиться вам, о афиняне!» — воскликнул Александр. Париж не только создает законы, он создает нечто большее — моду; и еще нечто большее, чем мода, — он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым; он разрешает себе иногда такую роскошь, и тогда весь мир глупеет вместе с ним; а потом Париж просыпается, протирает глаза, восклицает: «Ну не дурак ли я!» — и раздражается оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо-город! Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается с шутовским, пародия с подлинным величием, одни и те же уста могут нынче трубить в трубу Страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственно веселый характер. В его забавах — молнии, его проказы державны. Здесь гримасе случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь, как из жерла вулкана, лавой заливают землю. Его буффонады сыплются искрами. Он навязывает народам и свои нелепости и свои идеалы; высочайшие памятники человеческой культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен; у него есть беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру; он зовет все народы произнести клятву в Зале для игры в мяч; его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Природное здравомыслие он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного; отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшко, Боливаре, Боццарисе, Риего, Беме, Манине, Лопесе, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда человечества: в 1779 году он в Бостоне, в 1820 — на острове Леоне, в 1848 — в Пеште, в 1860 — в Палермо. Он

повелительно шепчет на ухо пароль *Свобода* и американским аболиционистам, толпящимся на пароме в Харперс-Ферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в Арчи на берегу моря, перед таверной Гоцци. Он родит Канариса, Кирогу, Пизакане; от него берет начало все великое на земле; им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне; под ногами Мирабо — он трибуна, под ногами Робеспьера — кратер вулкана; его книги, его театр, искусство, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество; у него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан-Жак, Вольтер для каждой минуты, а для веков — Мольер; он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом; он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколений; с 1789 года дух его мыслителей и поэтов почиет на всех героях всех народов. Все это нисколько не мешает ему повесничать, исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах: «Кредевилъ — вор».

Париж всегда скалит зубы: он либо рычит, либо смеется. Таков Париж. Дымки над его крышами — идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего — существо, богатое духом. Он не только велик, он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому, что он смеет дерзать.

Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс.

Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить, Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, — надо было, чтобы Дантон дерзнул.

Смелее! Этот призыв — тот же *Fiat lux*¹. Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Чудеса храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это одни из ярчайших светочей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти,

¹ Да будет свет (лат.).

клеить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться — вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камброна змеится все та же грозная молния.

Глава двенадцатая

БУДУЩЕЕ, ТАЯЩЕЕСЯ В НАРОДЕ

Парижское простонародье и в зрелом возрасте остается гаменом. Дать изображение ребенка — значит дать изображение города; вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробышком.

Наилучшие представления о парижском племени, — мы на этом настаиваем, — можно получить в предместьях; тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо; тут весь этот люд трудится и страдает, а в страданиях и в труде и выявляются два истинных человеческих лика. Тут, в неслетной толпе никому неведомых людей, кишмя кишат самые необычайные типы, от грузчика с Винной пристани и до живодера с монфоконской свалки. *Fex urbis*¹, — восклицает Цицерон; *тов*², — добавляет негодующий Берк; сброд, масса, чернь — эти слова произносятся с легким сердцем. Пусть так! Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны. Так что же? Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Неужели воспользуетесь их несчастьем? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу?

Так повторим же наш призыв к просвещению! Не устанем твердить: «Просвещения! Просвещения!». Как знать, быть может, эта тьма и рассеется. Разве революции не несут преображения? Слушайте меня, философы: обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание; бодрые духом, действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро одевайте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь. Толпу можно высить.

Сумеем же извлечь пользу из той неукротимой бури, ка-

¹ Подонки столицы (лат.).

² Чернь (англ.).

кою в иные минуты раздражается, бушует и шумит мысль и нравственное чувство людей. Босые ноги, голые руки, лохмотья, невежество, униженность и темнота — все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.

Глава тринадцатая

МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ

Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампль и близ Шато-д'О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати-двенадцати, который был бы очень похож на нарисованный нами портрет гамена, не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как все в его возрасте, он не прочь был и посмеяться. Мальчик был в мужских брюках, но не в отцовских, и в женской кофте, но не в материнской. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были родители. Но отец не желал его знать, а мать не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами.

Лучше всего он чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жесткой, чем сердце матери.

Родители пинком ноги выбросили его в жизнь. Он беспрекословно повиновался. Это был шумливый, бойкий, смышленный, задорный мальчик, живой, но болезненного вида, с бледным лицом. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавах, поворовывал, и делал это весело, как кошки и воробьи, смеялся, когда его называли постреленком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был жизнерадостен, потому что был свободен.

Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего общественного порядка и размалываются им. Но пока они дети, пока они малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.

Однако, как ни заброшен был этот ребенок, изредка, раз

в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаюсь с мамой!». И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен-Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил — куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50—52, к лачуге Горбо.

В ту пору лачуга № 50—52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась — редкий случай! — заселенной личностями, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношений. Все они принадлежали к тому неимущему классу, который начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку все ниже, до самого дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарем, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.

«Главная жилица» времен Жана Вальжана уже умерла, ее сменила такая же. Кто-то из философов, — не помню, кто именно, — сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».

Эта новая старуха звалась тетушкой Бюргон; в жизни ее не было ничего примечательного, если не считать династии трех попугаев, последовательно царивших в ее сердце.

Из всех живших в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырех человек: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трех чердаков, которые были уже нами описаны.

На первый взгляд, семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Вскоре после своего водворения, живо напоминавшего, по достопамятному выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, исполняла обязанности привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте — это я».

Это и была семья веселого оборвыша. Он приходил сюда, но видел лишь нищету и уныние и — что еще печальнее — не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?». Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, его спрашивали: «Ты ку-

да?». Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его: «Зачем ты сюда ходишь?»

Этот ребенок, лишенный ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребе. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.

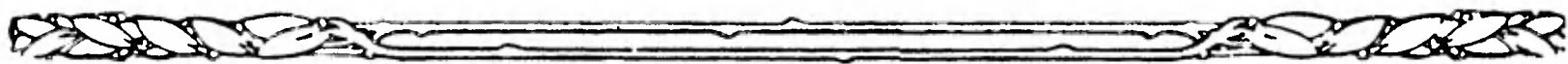
Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему его называли Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему его отца называли Жондретом.

Инстинктивное стремление порвать родственные узы свойственно, по-видимому, некоторым бедствующим семьям.

Комната в лачуге Горбо, где жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.

Расскажем теперь, кто такой г-н Мариус.



ВАЖНЫЙ БУРЖУА

Глава первая

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ И ТРИДЦАТЬ ДВА ЗУБА

Среди давних обитателей улиц Бушера, Нормандской и Сентонжской еще и теперь найдутся люди, помнящие и поминающие добрым словом старичка Жильнормана. Старичок этот был стар уже и тогда, когда сами они были молоды. Для всех, кто предается меланхолическому созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, прилегающих к Тамплю, которым при Людовике XIV присваивали названия французских провинций совершенно так же, как в наши дни улицам нового квартала Тиволи присваивают названия всех европейских столиц. Явление, кстати сказать, прогрессивное, свидетельствующее о движении вперед.

Господин Жильнорман, в 1831 году еще совсем бодрый, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство единственно по причине своего долголетия, и если в свое время они ничем не выделялись из общей массы, то теперь казались незаурядными, так как ни на кого не походили. Это был очень своеобразный старик — в полном смысле слова человек иного века, с головы до ног настоящий, чуть-чуть надменный буржуа XVIII столетия, носивший свое старинное и почтенное звание буржуа с таким видом, с каким маркизы носят свой титул. Ему уже перевалило за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, хорошо видел, любил выпить, сытно поесть, во сне богатырски храпел. Он сохранил все свои тридцать два зуба. Надевал очки, только когда читал. Был влюбчив, но утверждал, что больше десяти лет тому назад решительно и бесповоротно отказался от женщин. По его словам, он уже не мог нравиться. Однако он прибавлял к этому не «Потому что слишком стар», а «Пото-

му что слишком беден». «Не разорись я... ого-го!» — говорил он. Он и в самом деле располагал не более чем пятнадцатью тысячами ливров годового дохода. Его мечтой было получить наследство, иметь сто тысяч франков ренты и завести любовниц. Как видим, его отнюдь нельзя было причислить к тем немощным восьмидесятилетним старцам, которые, подобно Вольтеру, умирают всю жизнь. И долговечность его не была долговечностью битой посуды. Этот бодрый старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человек неглубокий, порывистый и очень вспыльчивый. Из-за любого пустяка он мог разбушеваться, и по большей части — будучи неправым. Если же ему перечили, он замахивался тростью и давал людям таску не хуже, чем в «великий век». У него была незамужняя дочь в возрасте пятидесяти с лишком лет, которую он в сердцах пребольно колотил и рад был бы высечь. Она все еще казалась ему восьмилетней девочкой. Он отпускал увесистые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ну и стервецы!». Одним из излюбленных его ругательств было: «Эх вы, *пентюхи, перепентюхи!*» Вместе с тем ему была присуща изумительная невозмутимость; он каждодневно брился у полупомешанного цирюльника, который ненавидел его, ревнуя к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Жильнорман очень высоко ставил свое умение судить обо всем на свете и хвастался своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Ну я ли не догадлив? Стоит блохе меня укусить, и я уже догадываюсь, с какой женщины она на меня перескочила». Его речь постоянно пересыпалась словами: «чувствительный человек» и «природа». Впрочем, он не вкладывал в это последнее слово такого широкого смысла, какое ему стали придавать в наше время, однако любил как-то по-своему вернуть его в свои шуточки у камелька. «Природа, — говаривал он, — желая наделить цивилизованные страны всем понемножку, ничего для них не жалеет, вплоть до забавных образцов варварства. В Европе существует, но только в малом формате, все, что встречается в Азии и в Африке. Кошка — это домашний тигр, ящерица — карманный крокодил. Танцовщицы из Оперы — те же людоедки, только розовенькие. Они съедают человека не сразу, они гложут его понемножку. А то — о волшебницы! — вдруг возьмут и превратят его в устрицу и проглотят. Карайбы оставляют одни кости, они — одни черепки. Таковы уж наши нравы. Мы не пожираем пищу мигом, а смакуем. Мы не приканчиваем добычу одним ударом, а медленно рвем на части».

Глава вторая
ПО ХОЗЯИНУ И ДОМ

Он жил в квартале Маре на улице Сестер страстей Христовых, в доме № 6. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Жильнорман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями Гобеленовой и Бовеской мануфактур, изображавшими сцены из пастушеской жизни; сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат Жильнормана, попадали через угловую стеклянную дверь, по лестнице в двенадцать — пятнадцать ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, у него был еще будуар — предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепными соломенными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах, по распоряжению г-на де Вивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались Жильнорману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны — взбалмошной старухи, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не был, отчасти судейского, а судейским он мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности принадлежал к числу мужчин, которых постоянно обманывают жены и никогда не обманывают любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем премилыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного, кисти Иорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанный до мельчайших деталей. Костюм Жильнормана не был не только костюмом эпохи Людовика XV, но даже Людовика XVI; он одевался как щеголь Директории, — до той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого сукна, с широкими отворотами, с длинейшими заостренными фалдами и огромными стальными пуговицами,

короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и с авторитетным видом утверждал, что «Французская революция дело рук отъявленных шалопаев».

Глава третья

ЛУКА-РАЗУМНИК

В шестнадцать лет он удостоился чести быть однажды вечером лорнированным в Опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезрелыми красавицами — Камарго и Сале. Оказавшись между двух огней, он храбро ретировался, направив стопы к маленькой, никому неведомой танцовщице Наанри, которой, как и ему, было шестнадцать лет и в которую он был влюблен. Сон сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гимар-Гимардини-Гимардинетта, — восклицал он, — когда я ее видел в последний раз в Лоншане, в локонах «неувядаемые чувства», в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца, и с муфточкой «волнение»!» Охотно и с большим увлечением описывал он свой ненлондреновый камзол, который носил в юные годы. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», — говорил он. Когда ему было двадцать лет, он попался на глаза г-же Буфле, и она дала ему прозвище «очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, «ведомости, журналы», как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди, — говорил он, — Корбьер, Гюман, Казимир Перье! И это, извольте ли видеть, министры! Воображаю, как бы выглядело в газете: «Господин Жильнорман, министр!» Вот была бы потеха! Впрочем, у таких олухов и это сошло бы!» Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, гривуазности и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха перифраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой откровенностей в прозе. Крестный отец Жильнормана, предсказывая, что из него выйдет человек не бесталанный, дал ему двойное многозначительное имя: Лука-Разумник.

ПРЕТЕНДЕНТ НА СТОЛЕТНИЙ ВОЗРАСТ

В детстве он не раз удостоивался награды в коллеже своего родного города Мулена и однажды получил ее из рук самого герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеона, ни возвращение Бурбонов — ничто не могло изгладить из его памяти воспоминание об этом событии. В его представлении «герцог Неверский» являлся самой крупной фигурой века. «Что это был за очаровательный вельможа! — рассказывал он — И как к нему шла голубая орденская лента!» В глазах Жильнормана, Екатерина II искупила раздел Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся: «Золотой эликсир, — восклицал он, — полунции желтой бестужевской тинктуры и капель генерала Ламота — стоил в восемнадцатом веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, посылаемых Венерой! Людовик Пятнадцатый послал двести флаконов этого эликсира папе». Старик был бы разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой эликсир есть не что иное, как хлористое железо. Жильнорман боготворил Бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году; он готов был без конца рассказывать о том, как ему удалось спастись при терроре и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него, чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что чуть не терял сознания. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Я льщу себя надеждой, что мне не придется дважды пережить девяносто третий год». А иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.

БАСК И НИКОЛЕТТА

У него были свои теории. Вот одно из его рассуждений: «Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, к которой равнодушен, безобразную, утрюмую, преисполненную сознания своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще

и ревнивую, у него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой: отдать жене на растерзание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус: начнет ворочать деньгами, марать пальцы о медяки, школить арендаторов, муштровать фермеров, теребить поверенных, вертеть нотариусами, отчитывать письмоводителей, водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить делами, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться, уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни; она совершает — это составляет особое и главное ее счастье — глупость за глупостью и таким образом развлекается. Супруг пренебрегает ею, а она находит себе утешение в том, что разоряет его». Жильнорман испытал эту теорию на себе, и с ним произошло все как по-писаному. Вторая его жена столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось около пятнадцати тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежавшую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом случаются всякие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом; он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. «Все это — лавочка», — говорил он. Как мы уже указывали, дом на улице Сестер страстей Христовых, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг: «человека» и «девушку». Когда к Жильнорману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдавший одышкой толстяк лет пятидесяти пяти, с большими ногами, не мог пробежать и двадцати шагов, но, поскольку он был уроженцем Байоны, Жильнорман именовал его Баском. Все служанки именовались у него Николеттами (даже Маньон, о которой речь будет впереди). Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стряпуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно

получать в месяц?» — спросил ее Жильнорман. — «Тридцать франков». — «А как вас зовут?» — «Олимпия». — «Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться будешь Николеттой».

Глава шестая,

В КОТОРОЙ ПРОМЕЛЬКНЕТ МАНЬОН С ДВУМЯ СВОИМИ МАЛЮТКАМИ

У Жильнормана горе выражалось в гневе: огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он говорил, что это делает ему «великую честь». Но эта «великая честь» преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему в продолговатой корзине, напимавшей корзину для устриц, принесли запеленатого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном. Жильнорману было в ту пору ни много ни мало восемьдесят четыре года. Это вызвало взрыв возмущения у окружающих: «Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто ей поверит? Какая наглость! Какая гнусная клевета!» Но сам Жильнорман не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал как бы в сторону: «Ну что? Что тут такого? Что тут такого особенного? Вы рехнулись, мелете вздор, вы невежды! Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней пустельге; Виржиналю, маркизу д'Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордоского, было восемьдесят три года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен — истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века — аббат Табаро — сын восьмидесятисемилетнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, Библию! А за-сим объявляю, что сударик этот не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет». Этому поступку нельзя от-

казать в сердечности. Через год та же особа, — звали ее Маньон, — прислала ему второй подарок. Опять мальчика. На этот раз Жильнорман сдался. Он возвратил матери обоих малышей, обязуясь давать на их содержание по восемьдесят франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь, — добавил он, — что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат священник, занимавший в течение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти семи лет от роду. «Я потерял его, когда он был еще молодым», — говорил Жильнорман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был человек безобидный, но скупой; как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню нищим, но подавал только изъятые из употребления монерыны да стертые су и, таким образом, умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается Жильнормана-старшего, то он не старался выгодать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все, имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фу, какая топорная работа! — презрительно воскликнул он. — Такое жалкое жульничество вызывает у меня чувство стыда. Все измельчало нынче, даже плуты. Черт побери, можно ли подобным образом обманывать таких людей, как я! Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда не годным способом. *Sylvae sint consule dignae!*»¹.

Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах; от второго — тоже дочь, умершая лет тридцати; то ли по любви, то ли случайно, то ли по какой-либо иной причине она вышла замуж за бывшего рядового, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это позор моей семьи», — говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особым изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В бога он почти не верил.

¹ Да будут леса достойны консула (лат.).

Глава седьмая

ПРАВИЛО: ПРИНИМАЙ У СЕБЯ ТОЛЬКО ПО ВЕЧЕРАМ

Вот каков был Лука-Разумник Жильнорман. Он сохранил волосы, — они у него были не седые, а с проседью, — и всегда носил одну и ту же прическу «собачьи уши». В общем, даже при всех своих слабостях, это была личность весьма почтенная.

Все в нем носило печать XVIII века, фривольного и величавого.

В первые годы Реставрации Жильнорман, тогда еще молодой, — в 1814 году ему исполнилось только семьдесят четыре года, — жил в Сен-Жерменском предместье, на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Маре много времени спустя, после того как ему стукнуло восемьдесят лет.

Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и только тут двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен, — говорил он, — и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе с звездами в небесах». И он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века.

Глава восьмая

ДВЕ, НО НЕ ПАРА

Мы уже упоминали о двух дочерях Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и характером и лицом; про них никак нельзя было сказать, что это сестры. Младшую — девушку чудесной души — влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку; уносясь мыслями в лучезарные края, восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал пред нею. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, снабжавший провиантом армию, муж

восхитительно глупый, человек-миллион или хотя бы префект; приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она — «супруга г-на префекта» — все это вихрем носилось в ее воображении. Итак, каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной — ангела, а у другой — гусыни.

Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Нынче рай на земле невозможен. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая замуж не вышла.

К моменту ее появления в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, удивительно остроносой и тупоголовой. Характерная подробность: вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее «мадемуазель Жильнорман-старшая».

По части чопорности мадемуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку.

С годами эта неукротимая стыдливость усилилась. М-ль Жильнорман все казалось, что ее шемизетка недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею. Она усеивала бесконечным количеством застежек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы все недотроги: чем меньше их твердые угрожает опасность, тем большую они проявляют бдительность. Однако пусть объяснит, кто может, тайны престарелой невинности: она охотно позволяла целовать себя своему внучатому племяннику, поручику уланского полка Теодюлю.

И все же, несмотря на особую благосклонность к улану, этикетка «недотроги», которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. М-ль Жильнорман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой — полудобродетель, полупорок.

Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством — сочетание очень удачное. Она состояла членом Общества Пресвятой девы, надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь», поклонялась «святому сердцу Иисусову», проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо, в молельне, закрытой для простых верующих, предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь

к мраморным облачкам, пlyingим меж длинных деревянных лучей, покрытых позолотой.

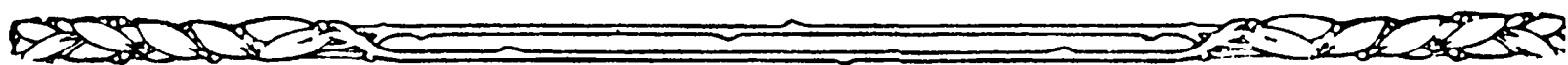
У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как она сама, — м-ль Вобуа, круглая дура; сравнивая себя с ней, м-ль Жильнорман не без удовольствия отмечала, что она сама — первейшая умница. Кроме всяких *Agnus Dei* и *Ave Maria* и разных способов варки варенья, м-ль Вобуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горноста́й — белизной, только без единого пятнышка.

Надо сказать, что, состарившись, м-ль Жильнорман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротой, а годы сглаживают углы, и вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то смутная печаль, причины которой она не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже кончившейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась.

Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле г-на Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьенвеню его сестра. Семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге.

Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безмолвный в присутствии г-на Жильнормана. Г-н Жильнорман говорил с ним строго, а иногда замахивался тростью: «Пожалуйте сюда, сударь! Подойди поближе, бездельник, сорванец! Ну, отвечай же, негодный! Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» и т. д. и т. д. Он обожал его.

Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.



ДЕД И ВНУК

Глава первая

СТАРИННЫЙ САЛОН

Когда Жильнорман жил на улице Сервандони, он был частым гостем самых избранных аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, Жильнормана принимали всюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, своим собственным умом, а во-вторых — умом, который ему приписывали, общества его даже искали, а его самого окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбуждать к себе интерес; если им не удастся играть роль оракулов, они переходят на роль забавников. Жильнорман не принадлежал к их числу. Он умело пользовался весом в роялистских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с г-ном Бональдом, но и с самим г-ном Бенжи-Пюи-Валле.

Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю у жившей по соседству, на улице Феру, баронессы де Т., особы достойной и уважаемой, муж которой занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине. Барон де Т., увлекавшийся животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновиденьем, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный сафьян золотообрезную десятитомную рукопись прелюбопытных воспоминаний о Месмере и его чане. Г-жа де Т. из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Г-жа де Т. держалась вдали от двора, представлявшего собою, по ее словам, чересчур «смешан-

ное общество», и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Два раза в неделю у ее вдовьего камелька собирались друзья — это был роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай и, в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на дифирамбы, то сокрушенно вздыхали, то громко возмущались современными порядками, хартией, бонапартистами, осквернением голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и «якобинством» Людовика XVIII. Здесь вполголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X.

Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался *Простофилей*. Герцогини, изящные и очаровательные светские женщины, восхищались куплетами по адресу «федератов»:

Эй ты, засунь в штаны рубаху!
Ведь скажут про тебя, дурак,
Что санкюлоты все со страху
Уж поднимают белый флаг!

Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем необыкновенно меткой и язвительной. Сочиняли четверостишия или даже двустишия. Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Деказ и Десер, были сочинены стихи:

Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон,
Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.

Или переделывали списки членов палаты пэров, этой «мерзостной якобинской палаты», комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалось смешно.

В этом мирке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали, с позволения сказать, собственную *Ca ira*:

Ах, дела пойдут на лад!
Буонапартистов на фонарь!

Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант.

Во время происходившего как раз в ту пору, в 1816 году, процесса Фюальдеса, здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону, потому что Фюальдес был «буонапартистом». Либералов именовали здесь «братьями и друзьями», — это звучало как наивысшее оскорбление.

Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы де Т. было два флюгера. Одним из них являлся г-н

Жильнорман, другим — граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко: «Вы знаете? Это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье». Политические партии идут на подобного рода странные амнистии.

Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряет в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств; совершенно так же, как от соседства с зябнущими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрения, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом, как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур, был вхож к принцу де Субиз. Несмотря на... Нет, именно поэтому, Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет — тот же Олимп. Меркурий и принц де Гемене чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом.

Старый граф де Ламот, которому в 1815 году исполнилось уже семьдесят пять лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить нравоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо, до самого шейного платка, застегнутого сюртука и длинных скрещенных ног в обвисших панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо.

С графом де Ламотом «считались» в салоне по причине его «известности» и — как ни странно, но это факт — потому, что он носил имя Валуа.

Что касается г-на Жильнормана, то он пользовался самым искренним уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости какой-то особой манерой держать себя: внушительной, благородной, добропорядочной и не лишенной некоторой примеси буржуазной спеси. К этому надо добавить его преклонный возраст. Иметь за плечами целый век чего-нибудь да стоит. Годы образуют в конце концов вокруг головы ореол.

К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блески старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь маркграфу Бранденбургскому, и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежи-

тельность. Жильнорману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского,— сказал он,— захолустные короли». Однажды кто-то спросил при нем: «К чему приговорили редактора газеты *Французский курьер*?» — «К пресечению»,— последовал ответ. «Пре- в данном случае излишне»,— заметил Жильнорман. Так создается репутация.

В другой раз, во время *Te Deum* в день годовщины реставрации Бурбонов, увидев проходившего мимо Талейрана, он обронил: «А вот и его превосходительство Зло».

Жильнорман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового, свежего, с веселым, доверчивым взглядом. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя шепот: «Какой хорошенький! Какая жалость! Бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли «бедным» потому, что отцом его был «луарский разбойник».

А луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем Жильнормана, которого Жильнорман именовал «позором своей семьи».

Глава вторая

ОДИН ИЗ КРОВАВЫХ ПРИЗРАКОВ ТОГО ВРЕМЕНИ

Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, непременно заметил бы человека лет пятидесяти, в кожаной фуражке, в брюках и куртке из грубого серого сукна, с пришитым к ней желтым лоскутком, бывшим ранее красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, почти совсем седого, с обветренным и почти черным от загара лицом, с широким шрамом, пересекавшим лоб и спускавшимся на щеку, согнувшегося, сгорбленного, до срока состарившегося; целый день человек этот расхаживал с заступом и садовым ножом по одному из находившихся близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены,— по одному из тех очаровательных, заросших цветами уголков, которые, будь они побольше, могли бы сойти за сад, а будь по-

меньше — за букет. Все эти участки одним концом упираются в реку, а другим в дома. Самый маленький из этих уголков и самый убогий из этих домиков занимал около 1817 года вышеупомянутый человек в куртке и деревянных башмаках. Он жил тут одиноко и уединенно, тихо и бедно, в обществе служанки, о которой трудно было сказать — молодая она или старая, хороша или дурна собой, крестьянка это или мещанка. Он называл свой квадратик земли садом, и сад этот славился в городе чудесными цветами, которые он там выращивал. Только этим он и занимался.

Трудом, упорством, тщательным уходом и обильной поливкой ему удалось вслед за творцом и самому сотворить несколько сортов тюльпанов и георгинов, о чем, по-видимому, позабыла природа. Он был изобретателен и опередил Суланжа Бодена, пустив поросшие вереском грядки под редкие и ценные культуры американского и китайского кустарника. В летнюю пору, с рассветом, он появлялся на дорожках сада и принимался за подрезку, подчистку, прополку, поливку, расхаживая среди цветов с добрым, печальным и кротким видом. Иногда, задумавшись, он часами простаивал неподвижно, то слушая пение птиц или доносившийся из ближнего дома лепет младенца, то разглядывая росинку на травке, игравшую, как драгоценный камень в лучах солнца. Он довольствовался самой скромной пищей, молоко предпочитал вину. Ребенок мог бы командовать им; служанка позволяла себе бранить его. Он был застенчив до дикости, редко выходил из дому и ни с кем, кроме нищих, стучавшихся к нему, да своего духовника, добрейшего старого аббата Мабефа, не виделся. Впрочем, если кто-либо из местных жителей или приезжих, человек совершенно ему неизвестный, которому хотелось поглядеть на тюльпаны и розы, дергал за его звонок, он приветливо открывал двери своего домика. Это и был луарский разбойник.

И вместе с тем каждому, кто вздумал бы почитать воспоминания о военных походах, биографии военных деятелей, *Монитор* и бюллетени великой армии, должно было броситься в глаза довольно часто встречающееся там имя Жоржа Понмерси. Юношей этот Жорж Понмерси служил рядовым в Сентонжском полку. Наступила революция. Сентонжский полк вошел в состав рейнской армии, ибо старые, существовавшие при монархии полки сохраняли присвоенные им названия провинций даже после падения монархии и были слиты в бригады лишь в 1794 году. Понмерси сражался под Шпейером, Вормсом, Нейштадтом, Тюркгеймом, Альцеом и Майнцем, — в отряде из двухсот человек, состав-

лявшем арьергард Гушара. Он был в числе двенадцати храбрцев, которые стойко держались за старым Андернахским крепостным валом, сражаясь с корпусом принца Гессенского, и отступили, присоединившись к основным силам лишь после того, как неприятельские пушки разворотили бруствер от гребня до основания, в войсках Клебера он сражался при Маршьенне и у Мон-Палисея, где был ранен в руку картечью. Затем он отправляется на итальянскую границу; здесь мы находим его среди тридцати гренадеров, защищавших под командой Жубера Тендское ущелье. Жубер был произведен за это дело в генерал-адъютанты, а Понмерси — в подпоручики. Осыпаемый картечью в битве при Лоди, он стоял подле Бертье и заслужил отзыв Бонапарта: «Наш пострел везде поспел: он и в артиллерии, он и в кавалерии, он и в инфантерии». Понмерси видел, как с поднятой саблей и с криком: «Вперед!» пал в сражении при Нови его бывший командир генерал Жубер. Выполняя боевое поручение, он со своей ротой отплыл на легком паруснике, шедшим из Генуи, в один из маленьких портов побережья — куда именно, не помню — и попал в пренеприятное положение, очутившись между семью и восемью английскими кораблями. Капитан, родом генуэзец, хотел сбросить пушки в море, спрятать солдат в межпалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом торгового судна. Но Понмерси велел поднять на флагштоке национальный флаг и смело прошел под пушками английских фрегатов. Это придало ему отваги, и в двадцати милях оттуда он на своем паруснике решился напасть на большой английский транспорт с войсками и захватил его. Транспорт шел в Сицилию и был до такой степени перегружен людьми и лошадьми, что сидел в воде по самые палубные крепления. В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гюнцбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене под градом пуль он вынес на руках смертельно раненного в сражении полковника Мопети, командира 9-го драгунского полка. Он отличился под Аустерлицем во время прославленного перехода колонн под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил батальон 4-го пехотного полка, Понмерси был в числе добившихся реванша. Император пожаловал его крестом. Понмерси был свидетелем пленения Вурмсера в Мантуе, Меласа в Александрии, Макка под Ульмом. Его часть входила в 8-й корпус доблестной армии Мортье, взявшей Гамбург. Затем он перешел в 55-й пехотный полк, преобразованный из прежнего Фландрского полка. Под Эйлау он находился на том самом кладбище, где бесстрашный капитан

Луи Гюго, дядя автора этой книги, со своей ротой из восьмидесяти трех человек в течение двух часов сдерживал натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из трех ушедших живыми с этого кладбища. Он принимал участие в сражении под Фридландом. Видел Москву, Березину, Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и Гельнгаузенское ущелье; затем Монмирайль, Шато-Тьери, Краон, берега Марны, берега Эны и страшные лаонские позиции. Под Арне-ле-Дюке, будучи в чине капитана, он зарубил десять казаков и спас, впрочем, не своего генерала, а своего капрала. Он вышел из этого дела израненным: у него извлекли из одной только левой руки двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он поменялся местом с товарищем и перешел в кавалерию. Он был человеком, как говорили при старом режиме, *двойной сноровки*, то есть умел в качестве солдата одинаково хорошо управляться как с саблей, так и с ружьем, а в качестве офицера — как с эскадронном, так и с батальоном. Благодаря этому качеству, усовершенствованному выучкой, и возникли такие особые виды войск, как, например, драгуны, являющиеся одновременно и кавалеристами и пехотинцами. Он последовал за Наполеоном на остров Эльба. Под Ватерлоо он командовал эскадронном кирасир, входившим в бригаду Дюбуа. Это он отнял знамя у Люненбургского батальона. Он бросил знамя к ногам императора. Он был весь залит кровью. Когда он вырывал знамя, его ударили саблей и рассекли ему лицо. Император, довольный, крикнул ему: «Поздравляю тебя полковником, бароном и кавалером ордена Почетного легиона!» — «Благодарю вас, ваше величество, за мою вдову», — ответил Понмерси. Час спустя он упал в овраг на Оэнскую дорогу. А теперь скажите — кто же этот Жорж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник.

Читатель кое-что о нем знает. После Ватерлоо, как вы помните, Понмерси вытащили из оврага на Оэнской дороге, ему удалось присоединиться к армии, а затем в лазаретном фургоне он добрался до луарского лагеря.

В годы Реставрации он был переведен на половинный оклад, а затем отправлен на жительство — другими словами, под надзор — в Вернон. Людовик XVIII, сочтя все, имевшее место в течение Ста дней, недействительным, не признал ни его звания кавалера ордена Почетного легиона, ни его чина полковника, ни его баронского титула. А Понмерси не упускал случая подписаться: «Полковник барон Понмерси». Выходя из дому, он прикреплял к своему старому синему, и к тому же единственному, сюртуку ленточку ордена Почет-

ного легиона. Королевский прокурор велел предупредить его, что возбудит против него судебное преследование за «незаконное ношение этого знака отличия». Выслушав предупреждение, переданное ему через чиновника, Понмерси ответил с горькой усмешкой: «Не знаю, я ли перестал понимать по-французски, вы ли разучились говорить на французском языке, но я решительно ничего не понял». После этого целую неделю он изо дня в день появлялся в городе с орденой ленточкой. Больше его не посмели тревожить. Два-три раза военному министру и начальнику военного округа случилось направлять ему письма с надписью: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. Подобным образом поступал в это самое время на острове св. Елены и Наполеон с посланиями Гудсона Лоу, адресованными «Генералу Бонапарту». Понмерси отвечал — да простят нам это выражение — плевком, как и его император.

Вот так же в Риме среди пленных карфагенских солдат попадались воины, в которых жила частичка души Ганнибала, и они отказывались приветствовать Фламиния.

В одно прекрасное утро, встретив на улице Вернона королевского прокурора, Понмерси подошел к нему и задал вопрос: «Скажите, господин королевский прокурор, разрешается ли мне носить шрам на лице?»

Никаких средств, кроме жалкого половинного оклада эскадронного командира, он не имел. Он нанимал в Верноне самый маленький домишко, какой только можно было сыскать. Он жил один, с его образом жизни мы уже познакомились. При Империи он успел между двумя войнами жениться на девице Жильнорман. Старый буржуа, в глубине души крайне недовольный, дал скрепя сердце согласие на брак, заявив, что и «самые знаменитые семьи бывают подчас вынуждены к этому». В 1815 году г-жа Понмерси, женщина во всех отношениях превосходная, редких душевных качеств и вполне достойная своего мужа, умерла, оставив ребенка. Этот ребенок мог бы скрасить одинокую жизнь полковника. Но дед потребовал внука к себе, заявив, что лишит мальчика наследства, если ему не отдадут его. Отец уступил, блюдя интересы сына, и, потеряв возможность удержать подле себя ребенка, пристрастился к цветам.

Он не занимался политикой, не бунтовал и не принимал участие в заговорах. Его мысли были сосредоточены либо на невинных делах, которыми он занимался теперь, либо на великих делах, которые совершал ранее. Его время делилось

между ожиданием цветения гвоздики и воспоминаниями об Аустерлице.

Жильнорман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был «бандитом», а сам он в глазах полковника — «бестолочью». Жильнорман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его «баронство». Они раз навсегда уговорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видаться или говорить с сыном, под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жильнорманам зачумленным. Им хотелось воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только собой.

Наследство Жильнормана-отца сулило немного, зато наследство мадемуазель Жильнорман-старшей было весьма значительным. Эта тетушка, оставшаяся в девицах, обладала богатством, полученным с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником.

Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец, и только. Никто не говорил с ним об отце. Но в обществе, куда водил его дед, его встречали шушуканьем, намеками, перемигиваниями, и в конце концов это дошло до сознания мальчика; он начал кое-что понимать. Он подвергался длительному воздействию окружающей среды, он, так сказать, впитывал ее в себя, и, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которою он дышал; постепенно он привык думать об отце со стыдом и сердечной болью.

Полковник раз в два-три месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен-Сюльпис к тому часу, когда тетка Жильнорман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка не обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевелинуться и вздохнуть, смотрел на сына. Покрытый шрамами воин боялся старой девы.

Отсюда возникла его дружба с веронским кюре аббатом Мабефом.

Достопочтенный кюре приходился братом церковному старосте церкви Сен-Сюльпис, а тот обратил внимание на мужчину, не отрывавшего глаз от ребенка; староста заметил и шрам на его щеке и крупные слезы на глазах. Мужественный на вид человек, плачущий как женщина, произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Вернон повидаться с братом, он встретил

на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльпис. Староста рассказал о нем священнику, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом последовали другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом, священнику и старосте удалось узнать всю историю его жизни и то, как он пожертвовал личным счастьем ради будущности своего ребенка. Это внушило священнику чувство уважения и нежности к полковнику, а тот полюбил священника. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. В сущности эти люди ничем не отличаются друг от друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой — небесной. Вот и вся разница.

Два раза в год, к 1 января и ко дню св. Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь писемника. Это все, что допускал Жильнорман. А отец отвечал нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал к себе в карман.

Глава третья

REQUIESCANT¹

Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси знание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Окно было тусклое; сквозь него проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и — что еще менее соответствовало его возрасту — серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными людьми, он глядел вокруг с изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных почтенных дам, носивших фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся Леви, Камби, произносившуюся Камбиз. Старые лица и библейские имена смешивались в голове мальчика с

¹ Да починут (лат.).

рассказами из Ветхого завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке, вокруг лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ними не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки.

К этим призракам присоединялись духовные особы — всегдашние старинного салона и дворяне: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри; виконт де Валори, печатавший под псевдонимом *Шарля-Антуана* написанные одним и тем же размером оды; князь де Бофремон, еще молодой, но уже седеющий, у которого была хорошенькая и остроумная жена, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте рассеивали царивший в салоне мрак; маркиз Кариолис д'Эспинуз, лучший во Франции знаток «меры учтивости»; граф д'Амандр, холостяк с добродушным подбородком, и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Де Пор де Ги, лысый, раньше времени состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет отроду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он — непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных днем. Взвалив на спину обезглавленные кровоточащие туловища, они уносили их; на ворота их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, вечером влажная. В салоне г-жи де Т. можно было услышать много таких страшных рассказов. В проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы «бесподобных», Тибордю Шалар, Лемаршан де Гомикур и знаменитый шутник «правой» Корне-Денкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д'Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапах перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив векам образец бальи, отомстившего за философа.

Из духовных лиц здесь бывали аббат Гальма, тот самый,

которому Лароз, сотрудничавший в газете *Фугр*, говорил: «Да кому же теперь меньше пятидесяти? Разве какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору еще не граф, не епископ, не министр, не пэр, носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда приходили аббат Керавенан, священник церкви Сен-Жермен-де-Пре, тогдашний папский нунций, высокопреосвященнейший Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, с длинным меланхолическим носом, и аббат Пальмиэри, носивший звания духовника папы, одного из семи действительных протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики, ходатая по делам святых — *postulatore di santi*, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два кардинала: де ла Люзерн и де Клермон-Тонер. Кардинал де ла Люзерн был писателем; несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в *Консерваторе* рядом со статьями Шатобриана. Тулузский архиепископ де Клермон-Тонер в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон-Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к *Энциклопедии* и увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу *in partibus*¹ Каристскому: «Смотри, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к г-же де Т. его ближайший друг де Роклор, бывший епископ Санлисский и один из сорока Бессмертных. В Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где происходили тогда заседания Французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Санлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоящего спиной к двери, — вероятно для того, чтобы лучше

¹ В иноверческой стране (лат.).

был виден его поповский воротничок. Хотя святые отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз д'Эрбурвиль, виконт Дамбре и герцог де Валантинуа подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валантинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое представление о Франции и об ее институте пэрства, что все сводил к последнему. Ему принадлежат слова: «Римские кардиналы — те же пэры Франции, английские лорды — те же пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала всюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем царил Жильнорман.

Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшеном». Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.

Современные «благородные» салоны совсем не походят на описываемый нами. Нынешнее Сен-Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, — демагоги.

В салоне госпожи де Т., где собиралось избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызывали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди неискушенные легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон, вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгвиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки тоже выражала желание, чтобы ее называли «госпожой полковницей».

Этот аристократический кружок придумал в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в треть-

ем лице: «король», избегая титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».

Здесь судили обо всем — и о делах и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не существовавшим время начиная с Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны.

Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во всем; слова излетали из уст едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они выглядели полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же старые слуги. Все производило впечатление чего-то отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель — вот примерно весь их лексикон. «Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», — к этому, в сущности, сводилось все. Взглядам этих почтенных особ было действительно присуще особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.

Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».

Что же собой представляли посетители салона г-жи де Т.? Это были «ультра».

Быть ультра! Быть может, явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его.

Быть «ультра» — это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр, а во имя алтаря — на митру; это значит опрокидывать свой собственный воз, брыкаться в собственной упряжке; это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского, это значит насмехаться от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке папизма, короля — в недостатке роялизма, а ночь — в избытке света; это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны; это значит быть таким горячим за-

щитником, что из защитника превращаешься во врага; так упорно стоять «за», что это превращается в «против».

Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом первую фазу реставрации.

В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820 — со вступлением в министерство г-на де Вилель, исполнителя воли «правой». Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время — и веселое и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый мирок, новый и старый, смешной и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто так не напоминает пробуждение от сна, как возвращение на родину. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полным-полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с изумлением взиравшими на окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого, что снова видит родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплеывали знать Империи, то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории; потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго внушал отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. Чувство великого и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скапенom. Этого мира больше нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаемся воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и в самом деле был поглощен потоком. Он исчез в двух революциях. О, как могуч поток освободительных идей! Как стремительно заливает он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!

Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда Мартенвиль считался мудрее Вольтера.

У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений Кольне, публициста и букиниста набережной Малаке. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск.

Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», у них вызывало смущение. Они были умны; они умели молчать; они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой; успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли — впрочем, не без пользы для себя — белизной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Он оказал ряд услуг. Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Сам того не желая, он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед ним? Революция, наследниками которой мы являемся, должна уметь понимать все. Нападать на роялизм — значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, своей матери, иначе говоря, самой себе. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы — к лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щипок с герба Генриха IV? Мы смеемся над Вобланом, стиравшим букву «Н» с Иенского моста. А что собственно он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буква «Н», — на-

ши. Это наше наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»

Так доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой — их ярость.

Выступлениями «ультра» ознаменован первый период Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.

В ходе повествования автор этой книги натолкнулся на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому неизвестного общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызывать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это — Франция минувших дней.

Как все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника чистейшей классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в колледже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскобляли игривость и цинизм старика, а об отце мрачно молчал.

В общем это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.

Глава четвертая

СМЕРТЬ РАЗБОЙНИКА

Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном госпожи де Т., переселился в собст-

венный дом на улице Сестер страстей Христовых в квартале Маре. Он держал привратника, ту самую горничную Николетту, которая сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором говорилось выше.

В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руке письмо.

— Мариус! — сказал Жильнорман. — Тебе надо завтра ехать в Вернон.

— Зачем? — спросил Мариус.

— Повидать отца.

Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда он встретится с отцом. Трудно представить себе что-нибудь более для него неожиданное, более потрясающее и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжелой повинностью.

Неприязнь Мариуса к отцу основывалась не только на мотивах политического характера. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его Жильнорман, не любит сына. В этом не могло быть сомнений, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя, что он нелюбим, Мариус и сам не хотел любить. Так надо, — уверял он себя.

Он был так ошеломлен, что не задал Жильнорману ни одного вопроса. А дед продолжал:

— Он, кажется, болен. Вызывает тебя.

И, помолчав, добавил:

— Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоянного двора Фонтен карета в Вернон отходит в шесть часов и приходит туда вечером. Поезжай с этой каретой. Он пишет, что мешкать нельзя.

Старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца утром. В то время с улицы Блуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом.

На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встречного, где живет «господин Понмерси». В душе он разделял точку зрения Реставрации и не признавал отца ни бароном ни полковником.

Ему указали дом. Он позвонил. Женщина с лампочкой в руке отворила ему.

— Дома господин Понмерси? — спросил Мариус.

Женщина не отвечала.

— Здесь живет господин Понмерси? — повторил свой вопрос Мариус.

Женщина утвердительно кивнула.

— Можно поговорить с ним?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Но я его сын! — настаивал Мариус. — Он ждет меня.

— Он уже не ждет вас, — сказала женщина.

Тут только Мариус заметил, что она плачет.

Она указала ему пальцем на дверь в низкую залу. Он вошел.

В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находилось трое мужчин. Один стоял, выпрямившись во весь рост, другой стоял на коленях, третий, в одной рубашке, лежал на полу. Лежавший на полу и был полковник.

Двое других были доктор и священник, читавший молитву.

Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал Жильнорману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, в день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком: «Мой сын все не едет. Пойду его встречать!» — вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался.

Послали за доктором и священником. Доктор пришел слишком поздно. Священник пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно.

При тусклом огоньке свечи на бледной щеке неподвижно лежащего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Слезка означала, что сын опоздал.

Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на его благородное мужественное лицо, на его открытые, но ничего не видящие глаза, на его седые волосы, на его сильное тело, на котором то тут, то там выступали темные полосы — следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна — следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот — его отец, что человек этот умер, но остался холоден.

Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника.

А между тем горе, щемящее душу горе царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка; священник молился, прерывая молитвы рыданиями; доктор утирал глаза, даже труп, и тот плакал.

Несмотря на свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка молча посматривали на Мариуса, — он был здесь чужим. Мариус, не опечаленный смертью отца, испытывал чувство неловкости и не знал, как себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать его.

И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрения к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца!

Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

На обороте полковник приписал:

«В этом же сражении под Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он держал трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардье, пусть он сделает для него все, что может.

Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку.

Из имущества полковника ничего не сохранилось. Жиль-норман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли.

Мариус провел в Верноне двое суток. После похорон он вернулся в Париж и засел за учебники, не вспоминая об отце, словно отец и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три забыли.

Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.

**ЧТОБЫ СТАТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ,
ИНОГДА ПОЛЕЗНО ХОДИТЬ К ОБЕДНЕ**

У Мариуса осталась от детства привычка к религии. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен-Сюльпис, он прошел в придел Пресвятой девы, куда ребенком водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем обычно; остановившись за колонной, он машинально встал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке: «Господин Мабеф, церковный староста». Служба только началась, как вдруг незнакомый старик со словами: «Это мое место, сударь» — подошел к Мариусу.

Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку.

По окончании обедни Мариус в раздумье остановился в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему.

— Извините, сударь, я уже побеспокоил вас и вот беспокою опять, — сказал он. — Но вы, по всей вероятности, сочли меня нехорошим человеком. Мне нужно объясниться с вами.

— Это совершенно излишне, сударь, — ответил Мариус.

— Нет, нет, — возразил старик, — я не хочу, чтобы вы плохо обо мне подумали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение десяти лет я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он приходил, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь его отец. Возможно, он, глупенький, и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга! Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку сидеть именно здесь во время обедни. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, а занимать их мог бы по праву как церковный староста. Я даже знал немного этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетка — словом, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видаться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследст-

вии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры! Господи помилуй! Ведь нельзя же считать человека чудовищем только потому, что он дрался под Ватерлоо! За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника. А теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, — там у меня брат священник, — звали его не то Понмари... не то Монперси... у него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара саблей.

— Понмерси? — произнес Мариус, бледнея.

— Да, да. Понмерси. А разве вы его знали?

— Это мой отец, сударь, — ответил Мариус.

Престарелый церковный староста всплеснул руками.

— Так вы тот мальчик! — воскликнул он. — Да, конечно, ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец!

Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал Жильнорману:

— Мы с друзьями собираемся на охоту. Можно мне съездить на три дня?

— Хоть на четыре! — ответил дед. — Поезжай, развлекись.

И, подмигнув, шепнул дочери:

— Какая-нибудь интрижка!

Глава шестая

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ВСТРЕЧА С ЦЕРКОВНЫМ СТАРОСТОЙ

Куда ездил Мариус, станет ясно дальше.

Мариус отсутствовал три дня; по возвращении в Париж он отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект *Монитера*.

Он прочитал от корки до корки весь *Монитер*, все исторические сочинения о Республике и Империи, *Мемориал святой Елены*, воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания, — он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Понмерси, в том числе у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он посетил вторич-

но, описал ему образ жизни полковника, не имевшего ничего, кроме пенсии, рассказал ему о его цветах и уединении в Верноне. Так Мариусу удалось узнать до конца этого редкого, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец.

Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие его время и мысли, он почти перестал видаться с Жиль-норманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жиль-норман посмеивался: «Эге-ге! Пришла пора девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть».

Это и в самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца.

Во взглядах его также свершался переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы.

Прошрое, в которое он заглянул, ошеломило его.

Он был прежде всего ослеплен им.

До тех пор Республика, Империя были для него лишь отвратительными словами. Республика — гильотиной, встающей из полутьмы. Империя — саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды — Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящее солнце — Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пытался назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания; Революция, Империя отчетливо представали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения: Республика — к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу; Империя — к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за революцией великий образ народа, за Империей — великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно.

Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом, слишком общем суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход

развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжим наш рассказ.

Мариус убедился, что до сих пор он так же плохо понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза темную завесу. Теперь он прозрел и испытывал два чувства: восхищение и обожание.

Его мучили сожаление и раскаяние, и он с горестной безнадёжностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы господь по своему милосердию и благодати не дозволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как бы крикнул: «Отец, я здесь! Это я! У нас с тобой в груди бьется одно сердце! Я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины! Как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одежам, лобызал бы его стопы! Ах, почему отец скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына! Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило: «Увы!» Он становился — и теперь уже по-настоящему — все серьезнее и строже, все тверже в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. В Мариусе происходил процесс внутреннего роста. Он чувствовал, что возмужал благодаря двум сделанным открытиям: он нашел отца и родину.

Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснения тому, что ранее ненавидел; постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение — божественное и человеческое — великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался.

От оправдания отца он, естественно, перешел к оправданию Наполеона.

Надо заметить, что последнее далось ему нелегко.

С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты Реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапар-

та она превратила почти в сказочное чудовище. Чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, было много ребяческого, партия 1814 года показывала Бонапарта под всевозможными страшными масками, от Тиберия до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все же величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу «этого человека», как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец.

Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам, мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все прозревал и прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма.

Как-то ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простиравшаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. Как дивно твое зрелище, ночь! Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки, раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар; небо черно, звезды сверкают, мир кажется необъятным.

Он читал бюллетени великой армии — эти героические строфы, написанные на полях битв; имя отца он встречал там время от времени, имя императора — постоянно; вся великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив; минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние: ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой, отдаленный кавалерийский галоп. Он подымал глаза к небу и глядел на сиявшие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним

вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении, он весь дрожал, он задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки в окно и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!»

В эту минуту со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр, Буонапарте — все это исчезло, уступив место в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недостижимой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром, мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Разумеется, у него были недостатки, он совершал ошибки, даже преступления, иными словами — был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации; больше того — олицетворением самой Франции; побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но и диктатора; деспота, выдвинутого Республикой и явившегося завершением Революции. Подобно тому как Иисус был богочеловеком, Наполеон стал для него народочеловеком.

Как всякий неопит, опьяненный новой верой, Мариус стремился приобщиться к ней — и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается грубой силой, — иными словами, создает двойной культ: божественного и звериного начала. Он допускал много других

ошибок. Он принимал все безоговорочно. В поисках истины можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный безграничного доверия, он соглашался со всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок.

Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону.

Родные Мариуса и не подозревали о совершившемся в нем перевороте.

Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и превратиться в революционера, демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло: *Барон Мариус Понмерси*.

Все это явилось следствием происшедшей в нем перемены, всецело определявшей его тяготением к отцу. Но так как у Мариуса не было знакомых и он не мог оставлять карточки у портье, он положил их в карман.

Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее: чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все, за что в течение двадцати пяти лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав Жильнормана, как указывалось выше, давно был не по душе Мариусу. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к Жильнорману. Стоило мосту рухнуть, как между ними образовалась пропасть. Помимо этого, Мариуса приводила в неопишное негодование мысль, что именно он, Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив, таким образом, отца сына, а сына лишив отца.

В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.

Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось внешне. Мариус становился только все холоднее и хо-

лоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылался на занятость, на лекции, экзамены, семинары и т. п. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен! В таких делах меня не проведешь».

Время от времени Мариус отлучался из города.

— Да куда же он ездит? — недоумевала тетка.

В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним случилось. Занятый розысками Мариус четыре дня не был дома.

— Ну, разумеется, куролесит, — заявил дед.

Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.

Глава седьмая

КАКАЯ-НИБУДЬ ЮБКА

Мы уже упоминали о некоем улане.

Это был внучатый племянник Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь в гарнизоне, вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого военного душки. Талия у него была как у «барышни», саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, усы лихо закручивал. В Париж он приезжал очень редко, — так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства.

Однажды утром мадмуазель Жильнорман-старшая при всей невозмутимости своего характера вернулась в себе крайне возбужденная. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться сегодня вечером. «Поезжай!» — ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул: «Поводился таскаться по ночам». Мадмуазель Жильнорман поднялась в свою комнату крайне заинтригованная, бросив на ле-

стнице в знак негодования: «Это уж чересчур!», а в знак удивления: «Куда же в самом деле он ездит?» Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, не без свидания, не без тайны, и была не прочь сунуть сюда свой оседланный очками нос. Любовный секрет — не менее лакомый кусочек, чем свежее испеченная сплетня, и святые души не прочь его отведают. В тайниках ханжества всегда найдется запас любопытства к амурным делам.

Итак, она томилась смутным вожделением узнать, что это за романтическое приключение.

Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи Империи и Реставрации, с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была скучная, работница угрюмая. Она провела в своем кресле несколько часов, как вдруг дверь отворилась. Мадмуазель Жильнорман подняла нос; перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от радости. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана.

— Ты здесь, Теодюль! — воскликнула она.

— Проездом, тетушка.

— Поцелуй же меня!

— Рад стараться! — отвечал Теодюль и расцеловался с ней.

Тетушка Жильнорман подошла к секретеру и открыла его.

— Ну, уж недельку-то ты у нас погостишь?

— Уезжаю нынче же вечером, тетушка.

— Не может быть!

— Совершенно точно.

— Теодюль, дружок, прошу тебя, останься!

— Сердце говорит «да», а устав — «нет». Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелу-не, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: «Дай-ка повидаться с тетушкой».

— Вот тебе за труды.

Она вложила ему в руку десять луидоров.

— Вы хотите сказать, за удовольствие, дорогая тетушка.

Теодюль опять поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира царапнули ей шею.

— Ты едешь с полком, на коне? — спросила она.

— Нет, тетушка. Мне хотелось во что бы то ни стало по-видать вас. Я получил разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду в дилижансе. Да, кстати, у меня к вам вопрос.

— Что такое?

— Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?

— Откуда ты знаешь? — воскликнула тетушка; ее любопытство было возбуждено.

— По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собою место в карете.

— И что же?

— Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира.

— Кто же это?

— Мариус Понмерси.

— Дрянной мальчишка! — возмутилась тетка. — Нет, твоему кузену далеко до тебя, от совсем не паинька. Смотрите, что он затеял — ночевать в дилижансе!

— Как и я.

— Но ты это делаешь по обязанности, а он по своему беспутству.

— Бездельник! — бросил Теодюль.

И тут мадмуазель Жильнорман-старшую осенило. Будь она мужчиной, она, наверно, хлопнула бы себя по лбу.

— Твой кузен знает тебя? — живо спросила она.

— Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием.

— Значит, вы поедете вместе?

— Он — на империале, я — внутри кареты.

— Куда идет дилижанс?

— В Андели.

— Значит, Мариус туда и едет?

— Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса не имею ни малейшего представления.

— Мариус! Какое противное имя! И вздумалось же назвать его Мариусом! Вот у тебя, я понимаю, имя — Теодюль!

— Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом, — заметил офицер.

— Слушай, Теодюль!

- Слушаю, тетушка.
- Слушай внимательно!
- С превеликим вниманием.
- Итак, ты слушаешь?
- Да.
- Так вот, Мариус то и дело в отлучке.
- Ай-ай-ай!
- Он куда-то ездит.
- Ого!
- Не ночует дома.
- Эге!

— Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется.

— Какая-нибудь юбка,— проговорил со спокойствием многоопытного человека Теодюль и с затаенной насмешкой, не оставлявшей места сомнениям, добавил: — Девчонка.

— Так оно и есть! — воскликнула тетка; ей показалось, что она слышит самого Жильнормана; для нее слово «девчонка», произнесенное внучатым племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, звучало особенно убедительно.

— Сделай нам одолжение, последи за Мариусом,— продолжала она.— Он тебя не знает, тебе это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся и ее увидеть. Ты нам напишешь. Это позабавит дедушку.

Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами: «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «Вот я и попал в дуэньи».

Мадмуазель Жильнорман расцеловала его.

— Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинешься дисциплине, ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга, ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.

Улан скорчил довольную гримасу, словно Картуш, которого похвалили за честность.

Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, не подозревая, что у него есть соглядатай. А соглядатай, наш Аргус, заснул сном праведника и всю ночь напролет прохрапел.

— Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона? — крикнул на рассвете кондуктор.

Поручик Теодюль проснулся.

— Превосходно,— в полусне пробормотал он,— мне здесь выходить.

А когда он окончательно стряхнул с себя сон и память его начала проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.

«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, — подумал он, застегивая мундир. — Он мог остановиться в Паусси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Паси, мог свернуть налево в Эвре или направо — в Ларош-Гийон. Попробуй-ка, тетенька, угонись за ним! Но что же, черт побери, напишу я милой старушке?»

В эту минуту в окне кареты показались спускавшиеся с империала черные панталоны.

«Уж не Мариус ли это?» — промелькнуло в голове поручика.

Это был действительно Мариус.

У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы.

— Купите цветов вашим дамам! — кричала она.

Мариус подошел и выбрал лучшие цветы из ее корзинки.

«Дело принимает любопытный оборот! — подумал Теодюль, выскакивая из кареты. — Но кому, пропади он пропадом, собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет может предназначаться писаной красавице. Я должен на нее поглядеть».

Подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он, теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя свое любопытство, стал следить за Мариусом.

Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.

«Здорово же он влюблен!» — решил Теодюль.

Мариус направился к церкви.

«Великолепно, — рассуждал сам с собой Теодюль. — Церковь! Очень хорошо. Свидания, заправленные обедней, — чего лучше! Перемигиваться за спиной у боженьки премилое дело».

Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов абсиды.

«Итак, свидание происходит не внутри, а снаружи, — подумал Теодюль. — Ну-ну, поглядим на девчонку».

И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус.

Дойдя до угла, он замер от удивления.

На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он растрепал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя: ПОЛКОВНИК БАРОН ПОНМЕРСИ. Слышались рыдания Мариуса.

Девчонка оказалась могилой.

Глава восьмая

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал всякий раз, когда, по выражению Жильнормана, «таскался по ночам».

Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись рядом с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполе-тах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных по-хождений Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятого стечения обстоятельств, почти тотчас же не получила отклика в Париже.

Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, от быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться.

Жильнорман, как все здоровые старики просыпавшийся спозаранку, услышал, что Мариус приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был.

Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы

спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться вверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было.

Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка.

— Тем лучше, — сказал Жильнорман и проследовал в гостиную, где уже восседала мадмуазель Жильнорман-старшая, вышивавшая свои экипажные колеса.

Он вошел ликуя.

Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашу ленточку Мариуса, Жильнорман воскликнул:

— Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни! Мы у самых истоков романа. У меня портрет!

Действительно, на ленточке висел футлярчик из черной шагреновой кожи, напоминавший медальон.

Старик взял футляр и некоторое время, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него, бедняги, перед носом, но не для него предназначенный.

— Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ну что за болваны! Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает! Нынче у молодежи прескверный вкус!

— Давайте посмотрим, отец, — сказала старая дева.

Футлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.

— *От той же к тому же,* — с громким хохотом сказал Жильнорман. — Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка!

— Ну прочтите же ее! — сказала тетка и надела очки. Затем развернула бумажку и прочла следующее:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своею кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Жильнорман чуть слышно, как бы про себя, прошептал:

— Это почерк рубаки.

Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр.

В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. Мадмуазель Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: *Барон Мариус Понмерси*.

Старик позвонил. Вошла Николетта. Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал:

— Унесите этот хлам.

Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила:

— Очень мило!

Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, увидев его, тотчас впал в насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто уничижающее.

— Так, так, так! — закричал он. — Оказывается, ты теперь барон. Ну, поздравляю тебя. А что это собственно значит?

— Это значит, — слегка покраснев, ответил Мариус, — что я сын своего отца.

Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:

— Твой отец — это я.

— Мой отец, — продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, — был человек скромный, но храбрый, доблестно служивший Республике и Франции, показавший свое величие в величайших исторических событиях, проживший четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, в грязи и под дождем, человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, брошенным, виновным единственно в том, что слишком сильно любил двух неблагодарных — родину и меня!

Это было уж чересчур, Жильнорман не вытерпел. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного — пунцовым, из пунцового — багровым.

— Мариус! Мерзкий мальчишка! — воскликнул он. — Я не знаю, каков был твой отец! И знать не хочу! Я о нем ничего не знаю и его самого не знаю! Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи! Голодранцы, убийцы, ка-торжники, воры! Все, говорят тебе! Все без исключения! Все! Запомни, Мариус! А ты такой же барон, как моя туфля! Робеспьеру служили одни грабители! Бу-о-на-парту — одни разбойники! Одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять! Законному своему королю! Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан под Ватерлоо! Вот это мне известно. А ежели почтенный ваш родитель, чего я до сих пор не знал, — принадлежит к их числу... Ну что ж, очень жаль, тем хуже для него!

Теперь наступила очередь Мариуса играть роль угля, а Жильнормана — мехов. Мариус весь дрожал; он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают его облатки, или факир, на глазах у которого прохожий плюет на его идола. Может ли он допустить, чтобы такие слова безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии над отцом надругались, топтали его ногами. И кто? Дед. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но нельзя оставить не-отомщенным отца. С одной стороны — священная могила, с другой — седины. Под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом:

— Долой Бурбонов! И этого жирного борова Людовика Восемнадцатого!

Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично.

Старик из багрового сразу стал белее собственных волос. Он повернулся к стоявшему на камине бюсту герцога Беррийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем, медленно и молча, дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещавшему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась оробевшей старой овцой, сказал, улыбаясь, почти спокойно:

— Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей.

И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости,

страшный, с надувшимися на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул:

— Вон!

Мариус покинул дом деда.

На другой день Жильнорман сказал дочери:

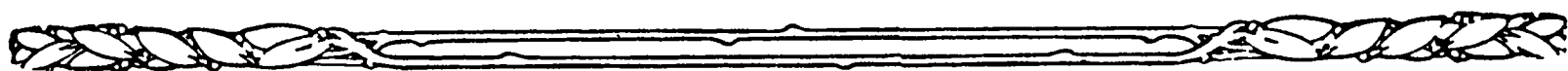
— Посылайте каждые полгода шестьдесят пистолей этому кровопийце и при мне никогда о нем не упоминайте.

Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы».

Мариус удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминания обстоятельство еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются мелочами. И хотя вины от этого не прибавляется, обида возрастает. Торопясь, по приказанию деда, отнести «хлам» Мариуса в его комнату, Николетта должно быть, обронила на темной лестнице в мансарду медальон из черной шагреновой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что «господин Жильнорман» — с этого дня он иначе не называл его — бросил в огонь «завещание отца». Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником, — в сущности, ничто не было потеряно. Но самая бумага, почерк являлись для него реликвией, все это составляло частицу его души. Что с ними сделали?

Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабrioлет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал.

Что станется с Мариусом?



ДРУЗЬЯ АЗБУКИ

Глава первая

КРУЖОК, ЧУТЬ БЫЛО НЕ ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ

В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов. Молодежь — да простят нам это выражение! — начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы — демократами.

Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов; отливам свойственно все смешивать; отсюда самые неожиданные сочетания идей; преклонялись и перед Наполеоном и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтерианский роялизм нашел себе не менее странного партнера в бонапартистском либерализме.

Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления; абсолютное уже в силу своей неумолимости заставляет умы устремляться к лазурным высям и витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь.

Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже

обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу «существующему порядку», подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившей подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот.

В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий тугендбунд или итальянский союз карбонариев; но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество «Друзей азбуки».

Что представляли собой эти Друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться.

Члены общества объявили себя Друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа¹. Его хотели поднять. Каламбур, отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике: например *Castratus ad castra*², благодаря которому Нарсес стал командующим армией; например *Barbari et Barberini*³, например *Fueros y Fuegos*⁴; например *Tu es Petrus et super hanc petram*⁵ и т. д. и т. п.

Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собою тайное общество в зачаточном состоянии, мы бы даже сказали — категорию, будь в возможностях категорий выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах: близ Рынка, в кабачке «Коринф», о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе «Мюзен», ныне снесенном. До первого сборочного пункта было недалеко рабочим, до второго — студентам.

Тайные собрания Друзей азбуки происходили в дальней комнате кафе «Мюзен».

В этой зале, достаточно отдаленной от самого кафе, с ко-

¹ По-французски слово «азбука» (А Б С) звучит как *abaisse* — униженный, обездоленный.

² Кастрат у лагерного костра (лат.)

³ Варвары и Барберини (лат.)

⁴ Фуэрос — особые права некоторых средневековых испанских городов; фуэгос — огни (исп.)

⁵ ...ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою... (Евангелие от Матфея, XVI, 18). Петр — по-гречески — камень.

торым ее соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Грe. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шепотом об иных делах. К стене — этого обстоятельства было вполне достаточно, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, — была прибита старая карта республиканской Франции.

Большинство Друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей — они до некоторой степени принадлежат истории: Анжольрас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль, или л'Эгль, Жоли, Грантер.

Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане.

Это был замечательный кружок. Он исчез в безднах, оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй, будет нелишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия.

Анжольрас, которого мы называли первым — а почему именно его, станет ясно впоследствии, — был единственным сыном богатых родителей.

Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивых глаз можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил Апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал до мельчайших подробностей все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, по натуре он был первосвященник и воин. Священнодействуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала — если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице — то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигнув зрелости мужчины, он все еще выглядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид — семнадцать. Он был строгого поведения и, каза-

лось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна страсть — справедливость и одна мысль — ниспровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте — Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пенья птиц. Обнаженная грудь Эвадней взволновала бы его не более, чем Аристогитона. Для него, как для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал глаза перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затее завести с ним интрижку грозил неминуемый провал. Если гризетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Бове, приняв его за выбравшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развевающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы испробовать над Анжольрасом чары своей красоты, его изумленный и грозный взгляд мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Иезекииля с галантным Керубино Бомарше.

Рядом с Анжольрасом, воплощавшим логику революции, стоял Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжольраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна, — говорил он, — но нужна и цивилизация»; вокруг крутой горы перед ним раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжольрасе. Анжольрас желал осуществить с ее помощью божественное право, Комбефер — естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй — сторонником Кондорсе. Комбефер в большей степени, чем Анжольрас, жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой — мудрого. Анжольрас был мужест-

веннее, Комбефер — человечнее. *Homo et Vir*¹, — в этом, в сущности, и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжольраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверно, охотно называл бы человека, вслед за испанцами, *Hombre*. Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явления поляризации света, восхищался сообщением Жоффруа Сент-Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одна — лицо, другая — мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, сопоставлял теории Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты *Монитера* и размышлял. Он утверждал, что будущее — в руках школьного учителя, и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи. Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши школы в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к «несбыточным мечтаниям». Он верил в любую фантазию и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его не пугали крепости, всюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей.

¹ Человек и муж (лат.)

Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим — пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер был не способен к борьбе. Нет, он всегда готов был грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы, и так, постепенно, сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дожидаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой: он чувствовал в нем гниение и смерть. По существу, он предпочитал пену бурлящей воды миазмам неподвижного болота, поток — клоаке, Ниагарский водопад — Монфоконскому озеру. Словом, он не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем как его мятежные и рыцарски влюбленные в абсолютное друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. «Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла», — неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обагряя их в крови, то красота прогресса — в сохранении безукоризненной чистоты: и Вашингтон, олицетворяющий прогресс, и Дантон, воплощающий революцию, отличаются друг от друга, как ангелы с крылами лебедя от ангелов с крылами орла.

Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породивше-

му в нем весьма похвальный интерес к изучению средних веков, он переименовал себя из Жана в Жеана. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал свои досуги возне с цветами, игре на флейте, сочинению стихов; он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково твердо верил и в светлое будущее и в бога и осуждал революцию только за одну павшую по ее вине царственную голову — за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос с неожиданными переходами в резкие тона. Он был начитан, как ученый, и мог почти сойти за ориенталиста, но прежде всего он был добр, и потому — это вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, — в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский, но пользовался ими лишь затем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Расина, Агриппу д'Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками; облака занимали его, пожалуй, не менее житейских дел. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой — к богу, и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами; заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производство, распределение — вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник, а по вечерам наблюдал за громадами ночных светил. Как и Анжольрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил опустив голову и потупя взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр.

Фейи был рабочим-веерщиком, круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в день, он имел одну заветную мечту — освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота — стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не осталось ни

одного человека без отчизны. С проницательностью выходя из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно затем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и некстати, говорил о них с тем большей настойчивостью, что он сознавал свое право на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы — Россией, Венеции — Австрией — все эти насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование — лучший вид красноречия; именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, который предательство лишило независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и зачином всех ужасных притеснений, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, самое существование которых оказалось вследствие этого — если можно так выразиться — под вопросом. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши — теорема, все современные политические злодеяния — ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать *ne varietur*¹ раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением прежде, чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815 делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава так же не может оставаться татарской, как Венеция — немецкой. Бороться за это напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь станет Грецией, Италия — Италией. Протест права против актов насилия не молкнет. Кража целого народа не прощается за дав-

¹ Неизменность (лат.)

ностью. Плоды крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спорить метку, как с носового платка.

У Курфейрака был отец, которого все звали господин де Курфейрак. К числу многих неверных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи Реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит вера в частицу «де». Частица эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен «Минервы» так высоко расценивала это ничтожное «де», что почитала за долг отказываться от него. Г-н де Шовелен стал именоваться г-ном Шовеленом, г-н де Комартен — г-ном Комартеном, г-н де Констан де Ребек — Бенжаменом Констаном, а г-н де Лафайет — г-ном Лафайетом. Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком.

На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись ссылкой: Курфейрак — см. Толомьес.

Курфейрак и в самом деле был полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка; двуногое очаровательное создание превращается в буржуа, четвероногое — в кота.

Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, его передают из рук в руки, *quasi cursores*¹, почти без изменений. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817-м. Но Курфейрак был честным малым. Несмотря на кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.

Если Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, приветливым нравом.

Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.

Баорель был хороший малый, славившийся дурным пове-

¹ Как состязающиеся в беге (лат.). — Лукреций. О природе вещей

дением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Отчаянный буян, иными словами — страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому в свою очередь предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить низвержением правительства, подстрекаемый любопытством поглядеть, что же из этого восполучится. Он одиннадцатый год числился студентом, но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом — ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот — до пальто в ту пору еще не додумались — и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Красавец-старик!», а о декане факультета Дельвенкуре: «Монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, профессора, которых слушал, — сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение в собственному сыну.

Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому умные».

Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать — только парижанам. А в сущности Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казался с первого взгляда.

Он служил связующим звеном между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более определенную форму.

В нашем конклаве был один лысый молодой человек.

Маркиз д'Аваре, которого Людовик XVIII пожаловал герцогом за то, что он посадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» — спросил король. —

«О месте почтмейстера, ваше величество». — «Как вас зовут?» — «Л'Эгль».

Король нахмурился, но, взглянув на подпись под прошением, увидел, что фамилия писалась не л'Эгль, а Легль¹. Такое отнюдь не бонапартистское правописание тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество! — продолжал посетитель. — Мой предок был псарь по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно — Легль, а искаженно — л'Эгль». Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он все же вручил просителю бразды правления в почтовой конторе в Мо.

Лысый друг азбуки был сыном этого л'Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо). Товарищи звали его для краткости Боссюз.

Боссюз был веселым, но незадачливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом и земельный участок, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и землю и дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен, и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял — все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружкой. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валится черепица». Спокойно, как должное, ибо привык к неудачам, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилась веселость. Ему частенько случалось терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»

Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, если приходила

¹ Л'Эгль (франц. — l'aigle) — орел. Орел был эмблемой в наполеоновском гербе.

охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужина с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй, ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги!»

Боссюз не торопился овладеть профессией адвоката. Он изучал юридические науки на манер Баореля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не было совсем никакого. Он жил то у одного, то у другого приятеля. Чаще всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюз.

Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. Он стал не столько врачом, сколько больным. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а изножьем на север, чтобы, под влиянием магнитных сил земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, — в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жоллли». «Смотри не улети на своих четырех «л», — шутил Жан Прувер¹.

Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служило признаком проницательности.

Всех этих молодых людей, столь не похожих друг на друга, объединяла общая вера в Прогресс; в конечном счете они заслуживали глубокого уважения.

Все они были родными сынами французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося «Восемьдесят девятый год». Их отцы во плоти могли в прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; молодежи не было никакого дела до неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений ис-

¹ По-французски согласная «л» произносится «эль», так же, как слово «Эль» (aile) — крыло. Отсюда каламбур: «Не улети на своих четырех «л», то есть: «Не улети на своих четырех крыльях».

поведовали религию неподкупного права и непреклонного долга.

Организовав братство посвященных, они начали втайне готовить осуществление своих идеалов.

Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантером; он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву Р¹. Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретающих за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» — наилучшим бильярдом, «Эрмитаж» на бульваре Мен — прекрасными оладьями и приятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое вино. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, ко всему прочему был не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию: «Грантер, — заявила она, — есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантера. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!» — и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.

Такие слова, как: права народа, права человека, общественный договор, французская революция, республика, человечество, цивилизация, религия, прогресс — представлялись Грантеру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете он относился иронически. Любимый афоризм его был: «В жизни достоверно одно — стакан вина». Он глумился над всякой самоотверженностью, кто бы ни являл пример ее: брат или отец. Робеспьер ли младший, или Луазероль. «Да ведь они на своей смерти немало выиграли!» — восклицал он. Распятые на его языке назывались «виселицей, которой здорово повезло».

¹ Прописная буква Р по-французски — грант эр (grand R).

Бабник, игрок, гуляка, вечно пьяный, он напевал себе под нос: «Люблю я красоток, люблю я вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям.

Впрочем, и у этого скептика был предмет фанатического увлечения: не идея, не догма, не наука, не искусство, но человек, а именно — Анжольрас. Грантер восхищался им, любил его, благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул этот во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех. Чем же покори́л его Анжольрас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик — кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантеру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в Анжольрасе парит вера. Анжольрас был ему необходим. Он не отдавал себе в этом ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжольраса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности, изломанности он цеплялся за Анжольраса как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантер искал опоры в стойкости Анжольраса. Рядом с ним он становился в некотором роде личностью. К этому необходимо добавить, что сам он представлял собою сочетание двух, казалось бы, несовместимых, элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Явление противоречивое, ибо привязанность — та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, оборотной стороной другого. К ним принадлежат Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь; их имена — только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди; у них нет своей жизни, их жизнь — изнанка чужой судьбы. Грантер был одним из таких людей. Он представлял собой оборотную сторону Анжольраса.

Можно утверждать с известным основанием, что в самих

буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны, сказать: «О» и «П» — это все равно что сказать Орест и Пилад.

Грантер, подлинный сателлит Анжольраса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, только там чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. Для него не было большей радости, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. А его терпели за покладистость.

Верующий трезвенник, Анжольрас презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантер оставался на положении непризнанного Пилада. Вечно терпя от суровости Анжольраса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к Анжольрасу и говорил про него: «Кремень, а не человек!»

Глава вторая

НАДГРОБНОЕ СЛОВО БОССЮЭ ПРОФЕССОРУ БЛОНДО

Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень и, как увидят читатели, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе «Мюзен», с томным видом прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз — груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять, прислонившись к чему-нибудь, — это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее.

Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, — обратить на него внимание. Легль из Мо, в полудремотном состоянии рассеянно глядя по сторонам, вдруг заметил двуколку, еле-еле, как бы нерешительно тащившуюся по площади. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Рядом с извозчиком сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришта карточка, а на ней бросались в глаза написанные крупными буквами имя и фамилия: *Мариус Понмерси*.

Это заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и крикнул, обращаясь к молодому человеку, сидящему в двуколке:

— Господин Мариус Понмерси?

Двуколка остановилась.

Молодой человек, по-видимому тоже пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза.

— Что? — сказал он.

— Вы господин Мариус Понмерси?

— Да, это я.

— Я вас разыскиваю, — объявил Легль из Мо.

— Вот как? — удивился Мариус; это был и в самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. — Я вас не знаю.

— И я вас не знаю, — молвил Легль.

Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. А ему было совсем не до шуток. Он сдвинул брови. Но Легль из Мо невозмутимо продолжал:

— Вас не было позавчера на лекциях.

— Возможно.

— Не возможно, а совершенно точно.

— Вы студент? — спросил Мариус.

— Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к переключке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Если вы на троекратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков.

Мариус стал слушать внимательнее. А Легль продолжал:

— Переключку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Он начал коварно с буквы П. Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Переключка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя: «Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, чинить нынче расправу». Вдруг он вызывает: «Мариус Понмерси!» Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус Понмерси!» — и уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: «Эх! Славного малого хотят вычеркнуть. Пойдите! Кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и

всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель гризеток, волокита, быть может, в этот самый миг просиживающий у своей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть Блондо!» В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от вымарок перо, окидывает хищным взглядом аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» — «Здесь!» — ответил я. Поэтому-то вас и не вычеркнули.

— Позвольте, сударь... — начал было Мариус.

— А вычеркнули меня, — закончил Легль из Мо.

— Я вас не понимаю, — сказал Мариус.

— Дело простое, — принялся объяснять Легль. — Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо — он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, — перескакивает на букву Л. Л — это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя Легль.

— Л'Эгль... Какое прекрасное имя! — прервал его Мариус.

— Ну так вот. Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает: «Легль» — «Здесь!» — отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит улыбаясь: «Если вы Понмерси, стало быть не Легль». Фраза, как будто не совсем учитывая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул.

— Я глубоко огорчен, сударь! — воскликнул Мариус.

— Прежде всего, — прервал его Легль, — я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю: *Erudimini qui judicatis terram*¹. Здесь покоится Блондо, Блондо Носатый, Блондо *Nasica*, вол дисциплины — *bos disciplinae*, цепной пес списков, гений переключек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь бог вычеркнул его из числа живых, как он меня — из числа студентов.

— Мне очень неприятно... — снова начал было Мариус.

— Да послужит вам это уроком, молодой человек, — сказал Легль из Мо. — Впредь будьте аккуратнее.

— Примите самые искренние мои сожаления.

¹ Учитесь, судьи земли (лат.).

— Впредь ведите себя так, чтобы ваших ближних не вычеркивали из списков.

— Я просто в отчаянии...

Легль расхохотался.

— А я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то я добился исключения! И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему я намерен нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?

— В этом кабриолете, — ответил Мариус.

— Значит, вы богаты, — не моргнув глазом, подхватил Легль. — Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере девять тысяч франков в год.

В этот момент из кафе вышел Курфейрак.

Мариус печально улыбнулся:

— Я нахожусь на этой квартире два часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история — мне некуда деваться.

— Поедьте ко мне, сударь, — сказал Курфейрак.

— Первенство, собственно говоря, принадлежит мне, — заметил Легль, — но беда в том, что у меня самого нет дома.

— Замолчите, Боссюэ, — оборвал его Курфейрак.

— Боссюэ? — с недоумением повторил Мариус. — А я полагал, что фамилия ваша Легль.

— Из Мо, — ответил Легль, — иносказательно же Боссюэ. Курфейрак сел в кабриолет.

— Гостиница Порт-Сен-Жак! — приказал он извозчику.

В тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак вместе с Курфейраком.

Глава третья

ИЗУМЛЕНИЕ МАРИУСА РАСТЕТ

Не прошло и нескольких дней, как Мариус подружился с Курфейраком. Юность — пора стремительных сближений и быстрого зарубцовывания ран. В обществе Курфейрака Мариусу дышалось легко — ощущение, ранее ему незнакомое. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все читается на лице. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется

сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимопонимания молодым людям достаточно взглянуть друг на друга.

Тем не менее однажды утром Курфейрак неожиданно спросил Мариуса:

— Кстати: у вас есть какие-нибудь политические убеждения?

— Ну разумеется, — ответил Мариус, слегка обиженный вопросом.

— Кто же вы?

— Демократ-бонапартист.

— Окраска в достаточной мере серая, — заметил Курфейрак.

На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию», — и провел Мариуса в комнату Друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом.

Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остроумслия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе.

Мариус вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре он был склонен к монологам и разговорам с самим собою, и ему было как-то не по себе среди обступившей его молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия и привлекала и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неутомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. В эти минуты душевного смятения они разбегались, и он с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии, знакомился с самыми крайними взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли это все. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое мирозерцание; полный тревоги, не смея и самому себе в том признаться, теперь он начал подозревать, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием мерных толчков умственный горизонт его заколебался. Это было состояние внутренней ломки. Оно причиняло ему почти физические страдания.

Для этих молодых людей, казалось, не существовало «ни-

чего святого». По любому поводу Мариус мог услышать потрясающие речи, смущавшие его еще робкий ум.

Вот на глаза попалась театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого классического репертуара.

— Долой трагедию, любезную сердцу буржуа! — кричит Баорель.

Ему возражает Комбефер:

— Ты заблуждаешься, Баорель. Буржуазия любит трагедию, и пускай себе любит, оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет право на существование. Я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы, среди ее творений есть готовые пародии: клюв — не клюв, крылья — не крылья, плавники — не плавники, лапы — не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех, — вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов?

В другой раз, при Мариусе, проходившем вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан-Жака Руссо, произошел следующий разговор.

— Обратите внимание, — сказал Курфейрак, беря его под руку, — мы находимся на Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан-Жака Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка: Жан-Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет детей, а Жан-Жак — подкидышей.

Курфейрака оборвал Анжольрас:

— Не оскорбляйте памяти Жан-Жака! Я преклоняюсь перед этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но взял себе в сыновья народ.

Никто из молодых людей не употреблял слова «император». Только Жан Прувер иногда говорил «Наполеон», все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал *Буонапарт*.

Все это приводило Мариуса в изумление. То было *initium sapientiae*¹.

¹ Начало познания (лат.).

ДАЛЬНЯЯ КОМНАТА В КАФЕ «МЮЗЕН»

Один разговор между молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус и в который он изредка вставлял слово, произвел на него огромное впечатление.

Дело происходило в дальней комнате кафе «Мюзен». В тот вечер почти все Друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел кенкет. Говорили о том, о сем громко, но без особого увлечения. За исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах.

Ни одна женщина не допускалась в заднее помещения кафе, кроме судомойки Луизон, время от времени проходившей туда, где мылась посуда, в «лабораторию» кабачка.

Грантер, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих.

— Жажда томит меня, о смертные! — орал он. — Мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок и будто одна из них — я. Мне хочется выпить. Мне хочется забыться. Жизнь — кто ее только выдумал! — прегнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить — непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь — сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье — старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета сует, говорит Екклезиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Нуль, не желая ходить нагишом, рядится в суету. О суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа — это негр в побрякушках, с изнанки глупа — это философ в рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, даже настоящая честь и слава, — подделка под золото. Человеческое тщеславие — игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня, Карл Второй возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в ком-

пании консула *Incitatus*¹ и баронета Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами! Что же касается душевных качеств человека, то и они немногого стоят. Достаточно послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей лилия говорить, не поздоровилось бы от нее голубке! Ханжа, которая судит о святоше, ядовитее ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю. Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил, я проводил его с пользой: картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать — один черт! Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком: бережливый — родня скупому, щедрый — брат моту, храбрый — друг бахвала, от смиренных речей всегда отдаст лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут, он совершил убийство! Вот это и называется добродетелью! Добродетелью — пускай, но и безумством. У этих великих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгилионом, резцу которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронгилиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Брут был влюблен в одну, Нерон — в другую. История — это переливание из пустого в порожнее. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва под Маренго — точная копия битвы под Пидной; Толбиак Хлодвиг и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить — вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать! Но вам достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество! Увы, куда ни глянь, всюду тщета и низость. Все подчиняются успеху, даже грамматика. *Si volet usus*², говорит Гораций. Вот за что я презираю род человеческий. А теперь не перейти ли нам от общего к частному? Быть может,

¹ Быстро бегущего (лат.).

² Если потребует обычай (лат.).

вы ждете от меня похвалы народам? С кого же начать, позвольте спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона — здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи — и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто «на запах его урины слетаются пчелы». В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький тщедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием «подножку». Вот и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? За что, не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг-Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков, Альбион! Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу! Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джону Булю желание похвалить брата Джонатана? никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии *time is money*¹, и что останется у Англии? Отнимите у Америки *cotton is king*², и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии — желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм. Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один Павел задушенный, другой — затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев — все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит примером удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, притом война цивилизованная, применяет все виды разбоя, начиная с напа-

¹ Время — деньги (англ.).

² Хлопок — король (англ.).

дения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев-команчей. Бросьте, — скажете вы, — Европа все-таки лучше Азии! Я не отрицаю, что Азия нелепа. Однако я не вижу особых оснований вам, народы Запада, потешаться над далай-ламой, — вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ — и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина! Нет, дудки, господа человеки! В Брюсселе больше всего потребляют пива, в Стокгольме — водки, в Мадриде — шоколада, в Амстердаме — можжевеловки, в Лондоне — вина, в Константинополе — кофе, в Париже — абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех перещеголял. В Париже и тряпичник живет, как сибарит; Диогену, наверное, доставило бы не меньше удовольствия быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее: кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них — «Кастрюля» и «Скотобойня». Итак, о трактиры и кабаки, закусовые и питейные, рестораны и харчевни, распивочные и кофейни, караван-сарай халифов и погребки тряпичников! Сим свидетельствую, что я чревоугодник, столуюсь у Ришара, плачу сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них нагую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон? Давай поздороваемся.

Так разглагольствовал нахлеставшийся Грантер в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев проходившую мимо судомойку.

Боссюз протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантер разошелся.

— Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократы, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и утомиться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен, человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным господь бог опростоволосился. Толпа — богатейший выбор всяческих уродств. Кого ни возьми — дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с «бесчестна». Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а в придачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его, господа бога, к черту!

— Да замолчи же, наконец, ЭР прописное! — прервал его Боссюз, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший

в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили:

«...А что до меня, то, будучи еще мало искушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать нижеследующее, а именно: что, согласно нормандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день со всех, без изъятий, землевладельцев взимается в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных купчих и...»

— «Эхо, жалобный нимф голоса»...— затянул Грантер.

По соседству с Грантером за столиком царила почти мертвая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось вполголоса, две склоненные головы касались друг друга.

— Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно придумать сюжет.

— Это верно. Диктуй. Я записываю.

— Господин Доримон.

— Рантье?

— Разумеется.

— Его дочь Целестина.

— ...тина. Дальше?

— Полковник Сенваль.

— Сенваль слишком избито. Лучше Вальсен.

Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, тоже воспользовавшись шумом, вполголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный опытом тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело.

— Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику слухавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски, а наносит их математически точно, будь он неладен! И вдобавок левша.

В противоположном от Грантера углу Жоли и Баорель играли в домино и рассуждали о любви.

— Ты счастливчик,— говорил Жоли.— Твоя возлюбленная все время смеется.

— И напрасно,— отвечал Баорель,— это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует все

время смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния; а если она печальна, становится совестно.

— Неблагодарный! Так приятно, когда женщина смеется! И никогда-то вы не ссоритесь!

— Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заклучая наш священный союз, мы определили друг другу границы и никогда их не преступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, — к Жексу. Отсюда нерушимый мир.

— Мир — это спокойно перевариваемое счастье.

— А как твои дела, Жол-л-л-и? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду?

— Да она все дуется на меня, жестоко и упорно.

— Казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был бы ее разжалобить.

— Увы!

— На твоём месте я бы с ней распрощался.

— Легко сказать.

— Не труднее, чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта?

— Да. Ах, дружище Баорель, что это за прелестная девушка, и какая начитанная! Ножка маленькая, ручка маленькая. Всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки — ну просто колдовские. Я от нее без ума.

— В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. Купил бы себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует.

— Надолго ли? — крикнул Грантер.

В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, естественно, выступал Жан Прувер. Он бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся задор, и он становился насмешлив и лиричен.

— Не будем оскорблять богов, — взывал он. — Быть может, боги еще живы. Мне Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги — это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и встарь, — головной убор Кибелы; вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, перебирая пальцами дыроч-

ки. И я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио.

Наконец в последнем углу говорили о политике. Бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее, Курфейрак яростно нападал. На столе лежал злополучный экземпляр хартии в знаменитом издании Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги.

— Во-первых, я вообще против королей, — уверял он. — Уже из соображений экономического порядка я считаю их лишними: король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Вы только послушайте, во что обходятся короли. После смерти Франциска Первого государственный долг Франции достигал тридцати тысяч ливров ренты; после смерти Людовика Четырнадцатого он возрос до двух миллиардов шестисот миллионов, считая стоимость марки в двадцать восемь ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в тысяча семьсот шестидесятом году четырем миллиардам пятистам миллионам, а в наши дни составляло бы двенадцать миллиардов. Во-первых, не в обиду будь сказано Комбеферу, королевские хартии плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся! Нет, нет и нет! Не следует вводить народ в заблуждение. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов. Никаких все милостивейших, дарованных народу вольностей. Во всяких таких вольностях наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия — маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Нет! Никаких хартий!

Дело происходило зимой; два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился фразой:

— Метаморфоза совершилась — хартия превращена в пламя.

А над всем этим царило то, что у французов именуется

оживлением, у англичан — юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь со всех концов комнаты, создавали впечатление веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.

Глава пятая

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА

В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра или засверкает молния. Что возникнет спустя мгновение? Никто не знает. Трогательное может вызвать взрыв смеха, смешное — заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель — случайность.

Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь толщу беспорядочных речей споривших между собою Грантера, Баореля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака.

Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг без всякого внешнего повода останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что этого никто не знает, и среди шума и гама Боссюэ неожиданно заключил возражение Комбеферу датой:

— Восемнадцатого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, Ватерлоо.

Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол; при слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими.

— Меня всегда поражало, что это за странная цифра восемнадцать, бог ее знает! (Выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления), — воскликнул Курфейрак. — Восемнадцать — роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой восемнадцать Людовик, а после нее — Брюмер, и вот вам судьба великого человека с одной только существенной черточкой: в данном случае конец наступает на пятки началу.

Тут Анжольрас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил:

— Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?

«Преступление!» — это слово переполнило чашу терпения Мариуса, и без того взволнованного упоминанием о Ватерлоо.

Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке, был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал:

— Это Корсика. Островок, сделавший Францию великой.

По комнате словно пронесся порыв ледяного ветра. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется.

Баорель собирался пустить в ход один из своих любимых ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюз. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать.

Анжольрас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса:

— Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика потому, что она — Франция. *Quia nominor leo*¹.

Однако Мариус не имел ни малейшего желания отступить. Он обернулся к Анжольрасу и заговорил громким, дрожащим от волнения голосом:

— Боже меня упаси умалять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умалять ее. Поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся, приведем в ясность, с кем мы и кто мы. Кто вы, кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как *Буонапарт* с ударением на у, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел: он произносит — *Буонапарте*. Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собою совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, он составлял своды законов; подобно Цезарю, предписывал их, в речах

¹ Ибо львом именуюсь (лат.).

его, как у Паскаля, сверкали молнии и, как у Тацита, слышались громы; он и творил и писал историю, его бюллетени — песни *Илиады*; он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета; на Востоке он оставлял на своем пути слова, великие, как пирамиды; в Тильзите учил императоров царственности; в Академии наук с успехом возражал Лапласу; в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом; он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других; с юристами он превращался в законника, со звездочетами — в астронома; подобно Кромвелю, который всегда задувал одну из двух горящих свечей, он, чтобы подешевле купить кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль; он все замечал, все знал, что, однако, не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, плавучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте, с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два своих крыла: великую армию и старую гвардию, — воистину это архангел войны!

Все молчали, Анжольрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени принято за знак согласия или за свидетельство того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением.

— Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщит свой гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднять династии, штыками перекраивать Европу, — пусть чувствуют, что, когда он угрожает, рука его на эфесе божьего меча! Какой блестящий жребий — следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть народом того, кто, что ни день, дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки Дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова: Маренго, Арколь, Аустерлиц, Иена, Ваграм! Кто по-

минутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет Французскую империю Римской! Какой блестящий жребий — быть великой нацией, создавшей великую армию и, подобно горе, посылать орлов своих во все концы Вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то необыкновенный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды: силой оружия и ослепительным светом! Это ли не прекрасно? И есть ли что-либо прекраснее этого?

— Быть свободным, — промолвил Комбефер.

Теперь Мариус в свою очередь потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжольраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжольрас остался наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись с мыслями, Мариус не признал себя побежденным; все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длинейших силлогизмов, направленных против Анжольраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер, а пел он следующее:

Когда бы Цезарь дал мне славу,
И трон, и скипетр, и державу,
И мне велел за то предать
Мою возлюбленную мать,
Я Цезарю сказал бы прямо:
«Мне твоего не надо хлама,
Я мать свою люблю, слепец!
Я мать свою люблю!»

Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый, высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил:

Я мать свою люблю...

В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжольраса.

— Гражданин! — сказал, обращаясь к нему Анжольрас. — Мать — это Республика.

Глава шестая
RES ANGUSTA¹

Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь в нее железом, чтобы бросить семя; она чувствует в этот миг только боль от раны; трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода приходит позднее.

Мариус был в мрачном настроении. Он так недавно обрел веру! Неужели нужно отречься от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжело: лишь человеку-нетопырю милы такие потемки. Мариус принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места, его неудержимо тянуло и влекло вперед, побуждало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» — задавал он себе вопрос. Пролодав длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия: для одного он был слишком вольнодумным, для других — слишком отсталым; он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен».

Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал о насущных сторонах жизни. Но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком.

Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил:

— Господин Курфейрак поручился за вас.

— Да.

— Но я хотел бы получить деньги.

— Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо с ним переговорить, — ответил Мариус.

Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удостоился расска-

¹ Тяготы жизни (лат.).

зять, а именно, что теперь он одинок и что родных у него больше нет.

— Как же вы будете жить? — спросил Курфейрак.

— Не знаю, — ответил Мариус.

— Что вы намерены делать?

— Не знаю.

— Деньги у вас есть?

— Пятнадцать франков.

— Не хотите ли занять у меня?

— Ни в коем случае.

— Есть ли у вас платье?

— Да вот же оно!

— А ценные вещи?

— Часы.

— Серебряные?

— Нет, золотые. Вот они.

— У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас редингот и панталоны.

— Превосходно.

— Значит, у вас останется только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук.

— И сапоги.

— В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь!

— Большей мне и не требуется.

— У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.

— Очень хорошо.

— Ничего хорошего тут нет. А что вы будете делать потом?

— Я согласен на любой труд, но только на честный.

— Вы знаете английский язык?

— Нет.

— А немецкий?

— Тоже нет.

— Жаль.

— Почему?

— Да потому, что один мой приятель-книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или с английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все-таки можно.

— Я выучу и английский и немецкий язык.

— А до тех пор?

— До тех пор буду проедать платье и часы.

Позвали торговца платьем. Он купил вещи Мариуса за

двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков.

— Ну что же, это неплохо, — сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу, — с моими пятнадцатью это составит восемьдесят франков.

— А счет за гостиницу? — напомнил Курфейрак.

— Верно. Я и забыл, — сказал Мариус.

Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал семидесяти франков.

— У меня остается десять франков, — заметил Мариус.

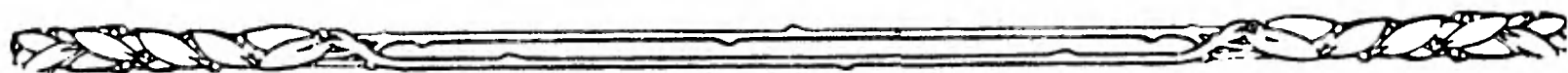
— Черт возьми! — воскликнул Курфейрак. — Вам придется питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык, и на пять, пока будете изучать немецкий! Нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно — монеты в сто су.

Между тем тетушка Жильнорман, женщина в сущности добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел письмо от нее и запечатанную шкатулку с «шестьюдесятью пистолями», то есть с шестьюстами франками золотом.

Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором сообщал, что имеет средства к существованию и может сам себя содержать. К тому времени у него оставалось всего три франка.

Тетушка не передала деду отказ Мариуса — она боялась окончательно рассердить старика. Ведь он же приказал при нем «никогда не упоминать» об этом кровопийце!

Не желая залезать в долги, Мариус покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.



ПРЕИМУЩЕСТВО НЕСЧАСТЬЯ

Глава первая

МАРИУС В НИЩЕТЕ

Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платье — это еще полбеды. Он, как говорится, хлебнул *горя*. Страшная вещь — нужда; это значит — дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня; это значит, что по целым неделям нечего заработать и от будущего нечего ждать; это значит — сюртук, протертый на локтях, и старая шляпа, возбуждающая у молодых девушек смех; это значит — вернуться домой и увидеть, что дверь на замке, потому что ты не заплатил за квартиру; это значит — наглость портье и кухмистра, усмешечки соседей; это значит — унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что кроме этого зачастую и глотать-то нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание своей неуязвимости, потому что необходима любовь, он понимал, что смешон, потому что плохо одет и презираем всеми, потому что беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордостью, он не раз с краской стыда опускал глаза на свои дырявые сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные — обретя величие! Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог.

В мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но

тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глас не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность — вот поле битвы, выдвигающее своих героев, неизвестных, но иной раз превосходящих доблестью наиболее прославленных.

Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета, почти всегда мачеха, иногда бывает и матерью. Скудность материальных благ рождает духовную и умственную мощь; тяжкие испытания вскармливают гордость; несчастья служат здоровой пищей для благородного характера.

В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Часто можно было видеть молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в мясную лавку на углу, неловко пробирался сквозь толпу отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота; он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув под мышку между двух книг, уходил. Это был Мариус. Котлеткой, которую он сам жарил, он питался три дня.

В первый день он съедал мясо, на другой — жир, на третий обгладывал косточку.

Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему шестьдесят пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается.

Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от черного платья. Зато ему отказалось служить платью. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус оказал дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за тридцать су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький. Но он был зеленого цвета. Мариус выходил из дома только в сумерки. Сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облакался в темноту ночи.

И все же ему удалось получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами раз-

розненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака.

Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. Два-три дня спустя мадемуазель Жильнорман услышала, что отец, находясь один в комнате, громко разговаривает сам с собой. Это случилось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, — говорил старик, — ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».

Глава вторая

МАРИУС В БЕДНОСТИ

Со всем на свете свыкаешься, и с нищетой тоже. Мало-помалу она становится не такой уж невыносимой. Она приобретает в конце концов устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает — иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем.

Самое худшее для него миновало. Теснина впереди раступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около семисот франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль *полезности*. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и т. п., что давало ему чистых семьсот франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Об этом мы сейчас расскажем.

За тридцать франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, торжественно именовавшуюся кабинетом; там было только самое необходимое. Обстановка являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилище, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам горячую воду, свежее яйцо и хлебец в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он шел по улице Сен-Жак пообедать у Руссо, против торговца эс-

тампами Басе, на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеб стоил три су, и его давали вволю. Вместо вина он пил воду. Расплачивался у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести г-жа Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су.

Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли: «водяным Руссо».

Итак, при завтраке в четыре су и обеде в шестнадцать, Мариус тратил на еду двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавьте тридцать франков за квартиру и тридцать шесть франков старухе, кое-какие мелкие расходы — и получится, что за четыреста пятьдесят франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему сто франков, белье — пятьдесят, стирка — пятьдесят, а все в совокупности не превышало шестисот пятидесяти франков. У него оставалось еще пятьдесят франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы; однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус «упразднил».

У Мариуса было два костюма: старый, на каждый день, и новый — для торжественных случаев. И тот и другой — черного цвета. Сорочек у него было не больше трех: одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Когда старые изнашивались, он покупал новые. И все же сорочки были у него почти всегда рваные, и это вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка.

Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы; их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного — брать в долг! Он мог смело сказать, что никогда не был должен ни единого су. Для него всякий долг означал начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина: господская власть распространяется только на ваше физическое я, кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унижить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только не делать долгов, и часто сидел голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок матери-

альный, если не принять мер предосторожности, может привести к упадку моральному, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось потом бить отбой. Строгость лежала на его лице словно румянец; в своей застенчивости он доходил до резкости.

Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку.

Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя — имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, — этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней: большой алтарь был воздвигнут для отца, малый — для Тенардье. Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье, с тех пор, как узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. Он прилагал огромные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты. Мариус изъездил окрестности, побывал в Шеле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он предпринимал эти поиски, тратя на них все свои скудные сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в постигшей его неудаче, он негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, — думал он, — ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот умирал на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах, а он ничем не был обязан отцу! Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и, в свою очередь, вернуть к жизни? Нет, я найду его!» Чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы от-

рубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье, оказать Тенардье услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю! Вот я! Располагайте мною!» — было самой отрадной, самой высокой мечтой Мариуса.

Глава третья

МАРИУС ВЫРОС

В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними, — ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было ее искать? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки? Мариус был тверд, как бронза, Жильнорман крепок, как железо.

Нужно сказать, что Мариус не знал, какое сердце у деда. Он вообразил, что Жильнорман никогда его не любил и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жеронтов. Мариус заблуждался. Есть отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души Жильнорман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая обожание тумками и затрещинами; но когда мальчик ушел из его дома, он почувствовал в своем сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его строго исполняется. Первое время он надеялся, что этот буонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему огорчению Жильнормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», — убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: «А случись это сейчас, поступил бы я так же?» Его гордость, не задумываясь, отвечала: «Да», а старая голова безмолвным покачиванием печально отвечала: «Нет». Временами он совсем падал духом: ему не доставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце; это тоже источник тепла. Несмотря на всю свою стойкость, в его душе с уходом Мариуса что-то переменя-

лось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению «с этим дрянным мальчишкой», но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Маре, становился все более и более замкнутым. Он был по-прежнему весел и вспыльчив, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались тихим и сумрачным унынием. «Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, только бы он вернулся!» — иногда говорил он себе.

Что же касается тетки, то она не способна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить; Мариус превратился для нее в неясную тень, и в конце концов она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, которые, конечно, у нее были.

Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и оттого, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печь новейшего изобретения, поглощающую свой дым. Случалось, что иной незадачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал: «Как поживает и что поделывает ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Барон Понмерси изволит сутяжничать в какой-то дыре».

Но между тем как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило забыть горечь обиды. Он вспоминал теперь о Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, «дурно относившегося» к его отцу. Вот такую умеренную форму приняло теперь его бывшее возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать и что старания его не прекращались. Ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то радостью он твердил себе, что «все это еще слишком хорошо»; что это искупление; что, не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, такому отцу! Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значат его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него — это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и означали слова полков-

ника: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил — правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце.

Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком, теперь он стал взрослым мужчиной. Он признавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что направляет нашу волю к действию, а душу — к высоким целям. Бедность обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение; следствием этого является неодолимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши сотни столь же блестящих, сколь и грубых, развлечений: скачки, охота, собаки, табак, карты, яства и еще многое другое; все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, в ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный юноша трудом добывает хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его, то может предаться мечтаниям. Ему доступны бесплатные зрелища, даруемые богом: он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого страждет, мир творений, в котором он является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений — бога. Он мечтает и чувствует себя великим, мечты уносят его все дальше и дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам, для нее закрытым, — он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается у него в сердце. Да и бывает ли он несчастен? Нет. Молодого человека нищета не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, алостью губ, белизной зубов, чистотою дыхания всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание; и пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается мыслями. Закончив дневной урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным восторгам и радостям. Жизненный

путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами у него камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен; и он благословляет бога за то, что тот даровал ему два сокровища, не доступные многим богачам: труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство.

Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, решив, что бедным быть лучше, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, что он проводил целые дни в раздумье, словно зачарованный, погружившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешил для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше — ради духовной пользы. Иначе говоря — жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Он полагал, что ни в чем не нуждается, но не замечал, что понятая таким образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени; удовольствовавшись самым необходимым, он слишком рано вздумал отдыхать.

Совершенно ясно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.

Несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не «сутяжничал», но вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой — такая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в скромной книготорговле обеспечивала ему без большой затраты труда надежный заработок, и его вполне хватало Мариусу.

Один из книготорговцев, на которых он работал, предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованием полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира! Полторы тысячи франков! Это, конечно, недурно. Но лишиться свободы! Превратиться в наемника! В своего рода литературного приказчика! По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение: выиграть

с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять неприкрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Из слепого превратится в кривого. Он отказался.

Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также потому, что его отпугнули, он так и не вошел в кружок, возглавляемый Анжольрасом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать один другому любую услугу, но и только. У Мариуса было два друга: Курфейрак и Мабеф; один был молод, другой — стар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан душевным переворотом, во-вторых — благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с моих глаз катаракту», — говорил Мариус.

И действительно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль.

Правда, Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием Провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь туда внесенная. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит.

Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то Мабеф был совершенно неспособен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею.

Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с Мабефом, то мы считаем нелишним сказать о нем несколько слов.

Глава четвертая

МАБЕФ

В тот день, когда Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него безразличны, он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали покоя, — он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим фурий «прекрасными, благими, прелестными», *Эвменидами*. Самому Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще большая — к книгам. Как у всех его современников, у него был ярлычок, оканчивающийся на *-ист*, без которого тогда никто не обходился. Однако Мабеф не был ни роялистом,

ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом — он был букинистом.

Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой «чепухи», как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и т. п., когда на свете существует такое множество мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, и не только *in folio*, но и в одну тридцать вторую долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятия ботаникой — заниматься садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сенжерменские; по-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел собрание людей безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, мужчину — сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты?» — «Не припоминаю», — ответил он. Если ему случалось — а с кем это не случается? — вздохнуть иногда: «Ах, будь я богат!» — то он говорил это не как старик Жильнорман, заглядываясь на красотку, а любуясь старинной книгой. У него жила старая экономка. Когда он спал, его скрюченные ревматизмом пальцы торчали буторками под складками простыни (следствие хирагры в легкой форме). Он написал и издал книгу *Флора окрестностей Котере*. Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише которых хранилось у него, пользовалось довольно широкой известностью; он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателя. Он выручал около двух тысяч франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию редких изданий. Он выходил из дому не иначе как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в ниж-

нем этаже, которые он снимал вместе с садиком, являлись оправленные в рамки гербарии и гравюры старинных мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него в жилах. Ни разу в жизни он близко не подошел к пушке, даже к той, что у Дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого барана. У него был брат священник, но, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот Сен-Жак, он ни к кому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго.

Образец святой простоты являла собой его служанка. Добрая старушка так и осталась девицей. Кот Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с *Miserere*¹ Аллегри в исполнении Сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. О мужчинах она и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту; она была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чепцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платья, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх».

Мариус заслужил благосклонность Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость и умел щадить его робкий нрав. Молодость в соединении с мягкостью оказывает на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой, пороховым дымом, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых, его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам.

Около 1830 года умер его брат священник, и почти тотчас же горизонт для Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в

¹ *Miserere* (mei, Domine) — Господи, помилуй меня (лат.).

делах прежде всего перестают продаваться всякие *Флоры*. На *Флору окрестностей Котере* сразу прекратился спрос. Недели шли за неделями, а покупателей у Мабефа не было. Если звонил звонок, Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», — печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день Мабеф покинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с Сен-Сюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только три месяца по двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; во-вторых, он оказался тут по соседству с тиром «Фату», откуда беспрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил.

Забрав свою *Флору*, клише, гербарий, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер, в деревне Аустерлиц; здесь он за пятьдесят экю в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты, с садом, обнесенным забором, и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для гравюр и гербариев, а покончив с этим занятием, все остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то задумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго!»

Лишь двум посетителям — хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу — разрешалось навещать Мабефа в его аустерлицкой хижине; откровенно говоря, это громкое наименование не доставляло ему удовольствия.

Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью или, что нередко бывает, обеими одновременно, очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к своей судьбе. Сосредоточенность на одном предмете рождает пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходять на нет, разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и не-

счастьем. Он — ставка в ней, а следит за партией с полнейшим безразличием.

Вот каким образом, несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокую душевную ясность. В его мышлении была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ.

У Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер; самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них при этом такой, словно они хотят во что бы то ни стало убедить себя в истинности читаемого.

С такой именно выразительностью читала тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Мабеф слушал не вслушиваясь.

Тетушка Плутарх дошла до того места, где говорится о красавице и драгунском офицере:

«...Красавица рассердилась и сказала: «Буду». И драгуна...»

Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки.

— Будду и Дракона, — вполголоса повторил Мабеф. — Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Не одна звезда сгорела от козней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Будда вошел в его пещеру — ему удалось укротить дракона. Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд.

Мабеф погрузился в сладостную задумчивость.

Глава пятая

БЕДНОСТЬ И НИЩЕТА — ДОБРЫЕ СОСЕДИ

Мариусу нравился этот простодушный старик, засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения, замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай, общества Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него нечасто, не более двух раз в месяц.

Любимое удовольствие Мариуса составляли долгие оди-

покие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил возле усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. И многие находили, что одежда у него какая-то странная, а вид зловещий. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам.

В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь... Все знали его тут под именем г-на Мариуса.

Старые генералы и старые товарищи отца, познакомившись с Мариусом, стали звать его к себе. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они давали ему возможность поговорить об отце. Он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в Доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал новый костюм. Но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходить в сапогах, которые не блестели, как зеркало, ему не хотелось.

«Уж так созданы люди», — не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты — чего бы вы подумали? Свести? Нет, сапог!

В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса тоже нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принесшая ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив, помимо гнева, все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, сохранились симпатии. Сторонником какой партии он был? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам, из всей нации — народу, а из всего народа — женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставил поэта выше героя, книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя бульварами домой, сквозь ветки деревьев вглядывался в беспредельные небесные пространства, мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, все человеческое казалось ему ничтожным.

Он думал, — и, может быть, справедливо, — что открыл настоящий смысл и настоящую философию жизни, и в конце концов сосредоточился только на созерцании неба, доступного взору истины из глубины ее колодца.

Это не мешало ему строить планы на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладай наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие непроизвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно исходящего из сокровенных глубин нашей души, чем наши безотчетные и безудержные стремления к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связанных, продуманных, стройных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре.

Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи.

— А за что же их гонят? — спросил он.

— За то, что не платят и просрочили уже двойной срок.

— Сколько это составляет?

— Двадцать франков, — ответила старуха.

У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков.

— Вот вам двадцать пять франков, — сказал он старухе. — Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня.

Глава шестая

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жильнорман. В первый раз она вздумала по-

ручить Теодюлю наблюдение за Мариусом; теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем.

На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо, — лучи Авроры иногда бывают отрадны руинам, — она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой, — рассуждала она, — это все равно что исправленная опечатка в книге: «Мариус — читай Теодюль».

Внучатый племянник — почти внук; за отсутствием адвоката можно обойтись уланом.

Однажды утром, когда Жильнорман был занят чтением не то *Ежедневника*, не то какой-то другой газеты того же сорта, вошла дочь и сладким голосом, ибо речь шла о ее любимчике, сказала:

— Папенька! Нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение.

— Кто такой Теодюль?

— Ваш внучатый племянник.

— А-а! — протянул дед.

Затем он снова принялся читать, выкинув из головы внучатого племянника — какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случилось почти всякий раз, как он читал газеты. В «листке», который он держал в руках, само собою разумеется — роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно: «Завтра, в полдень, на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов». Речь шла об одном из злободневных тогда вопросов: об артиллерии национальной гвардии и конфликте между военным министром и «гражданской милицией» из-за установленных во дворе Лувра пушек. Это и должно было служить предметом «обсуждения» на студенческом совещании. Этого было вполне достаточно, чтобы Жильнорман вскипел.

Он вспомнил о Мариусе, который тоже был студентом и который, наверное, вместе с другими отправится в полдень «совещаться» на площадь Пантеона.

За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихонько введенный в комнату мадемуазель Жильнорман. Улан рассудил, что «старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шлаком».

— Теодюль, ваш внучатый племянник! — громким голосом произнесла мадемуазель Жильнорман, обращаясь к отцу.

И тут же шепнула поручику:

— Смотри, ни в чем ему не перечь.

Затем она удалилась.

Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то непонятный поклон, машинально, по привычке, начав его по-военному, а закончив по-штатски.

— А, это вы! Прекрасно, садитесь, — проговорил дед. И тотчас же позабыл об улане.

Теодюль сел, а Жильнорман встал.

Засунув руки в жилетные карманы и сжимая старыми, дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух:

— Сопливая команда! А туда же — собирается!

Слыханное ли дело: не где-нибудь, а на площади Пантеона! Несчастные сосунки, вчера только от кормилиц, молоко на губах не обсохло, а туда же — совещаться завтра в полдень! К чему, к чему это приведет? Совершенно ясно: только к гибели. Вот куда завели нас эти голоштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланить — полагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет! А в какой компании они там очутятся? Полюбуйся на плоды якобинства! Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что, кроме беглых да помилованных каторжников, там никого не сыщешь. Республиканец и острожник — два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне идти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак!» Все они такие, ваши республиканцы.

— Совершенно верно, — подтвердил Теодюль.

Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал:

— И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием? Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем! Выдумал! Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не нужна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что в конце концов народ — это только народ; его, понимаешь ли, смешит твоя республика, глупая твоя голова! Что может быть омерзительнее этой придури? Втюриться в *Папашу Дюшена*, строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом девяносто третьего года! Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа! И все попадают на эту удочку. Никто не ускользнет. Теперь достаточно вдохнуть воздуха ули-

цы, и разума как не бывало! Деятнадцатый век — это яд. Какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорей от стариков родителей наутек. Это по-республикански, это романтично. А что это за штука такая — романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на *Эрнани*. Скажите на милость, *Эрнани*! Разные там антитезы, ужасы. И написано даже не по-французски! А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до чего докатились!

— Вы совершенно правы, дядюшка, — сказал Теодюль.

— Пушки во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? — не унимался Жильнорман. — Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь! И сам их Бенжамен Констан тоже не велика фигура! А если и попадется среди них не подлец — значит, болван! Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят; девчонки, глядя на них, прыскают. Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. Они не только неказисты — они еще и глупы; им любо повторять каламбуры Тьерсена и Потье. Сюртуки сидят на них безобразно, в их жилетах щеголять только конюхам, сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи; а каково оперенье — таково и пенье. Их словечки разве только на их подметки годятся. И у всех этих безмозглых младенцев есть, извольте ли видеть, свои политические воззрения! Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют систему, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном, моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады-радешеньки, если доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезających на тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры! Боже милосердный, это называется у них мерами! Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видел хаос, а теперь вижу кутерьму. Школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии! Такого не увидишь даже у краснокожих оджибвеев и кадодахов! Дикари, разгуливающие нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно волан, и с дубиной в лапах, — и те не такие скоты, как эти бакалавры! Молокососы! Цена-то им грош, а корчат из

себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают! Нет, это конец света. Совершенно ясно — конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты под арки Одеона. Стоит это всего одно су, но в придачу надо отдать здравый смысл, рассудок, сердце, душу и ум. Побывают там — и вон из семьи. Все газеты — чума, даже *Белое знамя*! Ведь Мортенвиль был в сущности якобинцем. Боже милосердный! Теперь он может быть доволен: он довел своего деда до отчаянья!

— Это не подлежит никакому сомнению, — согласился Теодюль.

Воспользовавшись тем, что Жильнорман умолк, чтобы перевести дух, улан нравоучительно добавил:

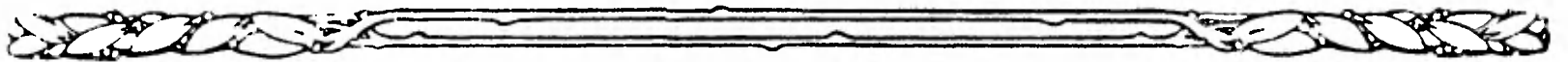
— Из газет следовало бы сохранить только *Монитор*, а из книг — *Военный ежегодник*.

— Все они вроде Сийеса! — снова заговорил Жильнорман. — Из царубийц — в сенаторы! Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, а потом требуют, чтобы их величали сиятельствами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы! Сийес — философ! Я горжусь тем, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малаке процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах, как у Генриха Четвертого. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Уверяю вас, граждане, что ваш прогресс — безумие, ваше человечество — мечта, ваша революция — преступление, ваша республика — уродина, ваша молодая, девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были — журналисты, экономисты, юристы, пусть даже большие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины! Вот что, милые друзья!

— Черт побери! — воскликнул поручик. — Как это верно!

Жильнорман опустил руку, обернулся, посмотрел в упор на улана Теодюля и отрезал:

— Дурак!



ВСТРЕЧА ДВУХ ЗВЕЗД

Глава первая

ПРОЗВИЩЕ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ФАМИЛИИ

В ту пору Мариус был красивым юношей среднего роста, с шапкой густых черных волос, с высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного; выражение его лица было горделивое, задумчивое и наивное. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере глубок и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа — и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с его целомудренным лбом. Глаза у него были небольшие, взгляд открытый.

В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки заглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что на нем обноски, и смеются над ним. На самом деле они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем.

Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюди-

мым. Он не остановил своего выбора ни на одной по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил — «по-дурацки», как выражался Курфейрак.

— Не лезь в святоши (они были на «ты»: в юности друзья легко переходят на «ты»), — говорил Курфейрак. — Мой тебе совет, дружище: поменьше читай и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутówki не так уж плохи, поверь мне, Мариус! А будешь бегать от них да краснеть — отупеешь.

Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат!»

Послушав Курфейрака, Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал женщин, и молодых и старых, да и самого Курфейрака.

Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это — женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила его служанка». Другая была девочка; он очень часто видел ее, но не обращал на нее внимания.

Больше года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших рядом, почти всегда на одной и той же скамейке, в самой уединенной части аллеи, выходящей на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею — а это бывало почти ежедневно, — он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, на вид новенькие, с иголочки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна.

«Чистюля-вдовец!» — крикнула однажды, проходя мимо, гризетка. Голова у него была совсем седая.

В первый раз, когда Мариус увидел, как девочка, сопровождавшая старика, села подле него на скамью, которую они себе, видно, облюбовали, она показалась ему тринадца-

ти-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное, плохо скроенное платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.

Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он перестал думать о них. А те, должно быть, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали. Девочка весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.

Вот как это происходило.

Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к исходному пункту и начинал путь сызнова. Раз шесть мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову поздороваться. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, их заметили студенты, изредка приходившие погулять в аллею Питомника: прилежные — после занятий, иные — после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал как парфянин, метнув в них прозвище. Только и запомнив, что цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца — «господином Белым». Никто не знал, как их зовут, и за отсутствием имени вошло в силу прозвище. «А! Господин Белый тут как тут!» — говорили студенты. Мариус тоже стал называть неизвестного г-ном Белым.

Мы последуем их примеру и для удобства будем именовать его г-ном Белым.

Первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку он находил малопривлекательной.

Глава вторая
LUX FASTA EST¹

На второй год, как раз к тому времени, до которого мы дошли в своем повествовании, Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил прогулки в Люксембургский сад и почти полгода не показывался в аллее. Но вот однажды, ясным летним утром, он снова туда отправился. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет хор птиц и в его сердце голубеет лазурь небес, глядевшая сквозь листву деревьев.

Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца, увидел на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ней, он заметил, что старик несколько не изменился, а девушка показалась ему совсем иной... Высокая, красивая. Создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, — пору миловатую и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, словно изваянный из мрамора, щеки, словно лепестки розы, легкий румянец, залившаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова — как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И, наконец, довершал обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа, хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям — предмет отчаяния художников и восторга поэтов.

Проходя мимо, Мариус не мог разглядеть ее глаза, все время остававшиеся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость.

Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего; трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.

В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторич-

¹ И стал свет (лат.).

но к скамейке и он взгляделся в девушку, то убедился, что это была она. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час: в мгновение ока бутон распускается, и вы видите розу. Вчера это был еще ребенок, сегодня это — существо, которое волнует вас.

Но девочка не только выросла, в ней появилась одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточно полгода, чтобы облечься в красоту. Пришел ее апрель.

Мы наблюдаем иногда, как бедные скромные люди вдруг, словно после дурного сна, из нищенства попадают в роскошь, сорят деньгами, становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги, — вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.

Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериносовое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая девушка. На ней было платье из черного дама, пелеринка из той же материи и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходящий от всего ее туалета пьянящий аромат юности.

А старик совсем не изменился.

Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже думая о другом.

Он еще несколько раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.

В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставлял там «отца и дочь», но не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

Глава третья

ДЕЙСТВИЕ ВЕСНЫ

Был теплый день; Люксембургский сад заливали свет и тень, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе; он ни о чем не думал, он только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взгляды встретились.

Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего — и было все. Словно неожиданно сверкнула молния.

Девушка опустила глаза, Мариус пошел дальше.

То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка — то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся.

У каждой девушки бывает день, когда она так смотрит. Горе тому, кто случится поблизости!

Этот первый взгляд еще не сознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые невольно расставляет невинность и в которые, сама того не желая и не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.

Редко случается, чтобы подобный взгляд не поверг в глубокую задумчивость человека, на которого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном, роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, цветок, именуемый любовью.

Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной небрежностью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «на каждый день», иными словами — в шляпе продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, протертом на локтях.

НАЧАЛО СЕРЬЕЗНОЙ БОЛЕЗНИ

На другой день Мариус достал из шкафа новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул — небывалая роскошь! — перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, сказал товарищам: «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Наверное, он шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».

Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погружившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал его: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то и толкало его туда и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.

Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке», г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».

Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни обычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какая глупая книга — *Руководство к получению степени бакалавра* и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.

Но, по мере того как он приближался к скамье, шаг его замедлялся. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что сидели сзади, вздумалось взглянуть на него.

Он достиг противоположного конца аллеи, затем вернулся и на этот раз осмелел. До скамьи оставалось пройти всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула голову в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно государственный муж. Когда он проходил под огнем противника, сердце его заколотилось. На ней было то же платье из дама и та же креповая шляпка, что и накануне. До него донесся чей-то голос — наверное, «ее голос». Она что-то не спеша рассказывала. Она была прехорошенькая. Он чувствовал это, хотя и не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, — думал он, — если бы узнала, что не кто иной, как я, — подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию *Жиль Блаза!*»

Он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. На этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему повернуться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.

Больше не пытаясь подойти к скамейке, он остановился посередине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, сел и принялся посматривать в ту сторону, полагая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку.

Через четверть часа он поднялся, намереваясь снова на-

правиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь.

Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца «г-н Белый».

Несколько минут стоял он, опустив голову и чертя на песке тростью.

Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.

В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже поздно, он сказал себе: «Не беда!» и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.

Глава пятая

ГРОМЫ НЕБЕСНЫЕ РАЗРАЖАЮТСЯ НАД ГОЛОВОЙ МАМАШИ ВОРЧУНЬИ

На другой день мамаша Ворчунья — так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но сорвиголове Курфейраку не было до этого никакого дела, — итак, мамаша Ворчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.

Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи по середине аллеи не пошел. Он сел здесь, как и накануне; издали ему хорошо были видны белая шляпка, черное платье и особенно голубое сияние. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запираť ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и решил, что они прошли через калитку, выходящую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер.

На другой день — это был уже третий по счету — мамашу Ворчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.

— Три дня подряд! — воскликнула она.

Она пошла было за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохнувшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля здравого смысла?» — ворчала она.

А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.

Девушка и г-н Белый уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.

Девушка была в самом деле изумительно хороша. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.

Глава шестая

ВЗЯТ В ПЛЕН

Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, — думал он, — я не успел принять надлежа-

щую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится целую вечность, то казалось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? — задавал он себе вопрос. — Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближались их мерные, мягкие шаги. Он вообразил, что г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» — думал он. Он опустил голову, а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался с духом подойти к ней, и говорит: «Я пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым бездонным взглядом.

Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной — той совершенной красотой, и женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте — преклонить колени. Мариус чувствовал себя на верху блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги.

Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.

Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный, принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.

Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь встретить девушку где-нибудь на улице.

Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком.

— Пойдем со мной обедать, — предложил он.

Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону.

— А ты читал сегодня газету? — спросил он за десертом Курфейрака. — Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!

Он был безумно влюблен.

После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр.

— Плачу я, — заявил он.

Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в *Агретской гостинице*. Мариус смеялся от души.

Вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивающей через канавку, а замечание Курфейрака: «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» — привело его в ужас.

На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похохотать. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишера. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения.

— А все-таки очень приятно иметь орден! — воскликнул он.

— Это уж смешно! — шепнул Курфейрак Жану Пруверу.

— Нет! — возразил Жан Прувер. — Тут не до смеха.

Действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало сильной страсти.

И все это сделал один только взгляд.

Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, то дальше все идет просто. Взгляд — это искра.

Свершилось. Мариус полюбил. Что было ему предначертано?

Женский взгляд напоминает машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд в вас вцепился. Вцепился ли он в вашу мысль, оказавшуюся на его пути, попались ли вы по рассеянности, как и почему это случилось — не важно. Но вы погибли. Вас тянет туда всего. Вас скуют таинственные силы. Соппротивление напрасно. Человеческая помощь бесполезна. От колеса к колесу машина потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой; все муки, все пытки придется вам претерпеть, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть

существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины обезображенный стыдом или преображенный любовью.

Глава седьмая

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С БУКВОЙ «У» И ДОГАДКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОЙ БУКВЫ

Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений — все подготовило Мариуса к состоянию одержимости, которая именуется страстью. Обожествление отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.

Целый месяц, из дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», — говорил Курфейрак. А Мариус испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. Сомнений не было — девушка смотрела на него!

Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимание отца». Как истинный макиавеллист, рассчитывал он за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по полчаса неподвижно простаивал подле какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, тоже поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве со дня творения и каждой женщине — со дня рождения! Губы ее отвечали одному, глаза — другому.

Надо думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо при появлении Мариуса он часто поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и вы-

брал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не проследует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду — вторая ошибка!

Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил — процесс естественный и неизбежный — в фазу ослепления. Любовь его все росла. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье; подлив масла в огонь, оно совсем затуманило ему глаза. Однажды, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без вышивки, но очень белый, тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ничего не знал о милой девушке, не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Первое, что он узнал о ней, были эти две буквы, и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква «У», — думал он, — обозначает имя. Наверное, Урсула! Чудесное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.

— Я чувствую в нем всю ее душу! — восклицал он.

А платок принадлежал старику, который выронил его из кармана.

В дни, следовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.

— О стыдливость! — говорил себе Мариус.

Глава восьмая

ДАЖЕ ИНВАЛИДЫ МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ

Если мы уже произнесли слово «стыдливость» и если мы не желаем ничего таить, то должны сказать, что, несмотря на свое упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогу-

ляться по аллее. Дул сильный ветер, колыхавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок.

Вдруг еще более резкий порыв ветра, которому, по всей вероятности, было поручено делать дело весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Феокрита, приподнял ее платье — не менее священное, чем покрывало Изида, платье — почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость.

Божественным движением, полным испуга, девушка оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там, — думал он, — мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Вообразить себе только! То, что она натворила, ужасно!» Бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был вестер; но Мариус, в котором зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.

Когда его «Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла вместе с г-ном Белым мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку утрюмый, свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»

Это была их «первая ссора».

Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался в аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами — солдатский орден Людовика Святого; сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо

него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» — повторял он себе. А, чтоб он пропал, этот инвалид!

Время притупляет остроту чувств. Гнев Мариуса на «Урсулу», гнев праведный, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня.

Несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.

Глава девятая

ЗАТМЕНИЕ

Мы видели, как Мариус открыл — или же вообразил, что открыл, — будто «ее» зовут Урсулой.

Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.

Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не остался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку: он решил проводить «Урсулу».

Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.

С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дому.

Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае знал если не фамилию, то ее имя — прелестное, самое подходящее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.

Однажды вечером, проводив их до дому и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:

— Скажите, это вернулся жилец второго этажа?

— Нет, — ответил привратник, — это жилец третьего.

Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса.

— Его квартира выходит на улицу?

— Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, — объяснил привратник.

— А кто он такой, этот господин? — продолжал Мариус.

— Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.

— А как его фамилия? — задал новый вопрос Мариус.

Привратник поднял голову.

— Уж не сыщик ли вы будете, сударь? — спросил он.

Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.

«Превосходно, — думал он. — Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».

На другой день г-н Белый и его дочь появились в Люксембургском саду ненадолго. Они ушли засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально посмотрел на Мариуса.

На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.

С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас.

На следующий день в Люксембургском саду — никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, любовь — влюбленного.

Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.

Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило? — подумал он. — Лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.

На следующий день — теперь он жил ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний день для него уже не су-

ществовал — на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду, но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен во мрак.

Мариус постучался и вошел в ворота.

— Дома господин, проживающий в третьем этаже? — спросил он привратника.

— Он съехал, — ответил тот.

Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:

— Когда?

— Вчера.

— А где он теперь живет?

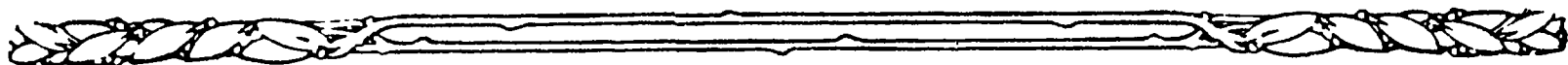
— Не знаю.

— Разве он не оставил своего нового адреса?

— Нет.

Привратник вскинул глаза и узнал Мариуса.

— Ах, это вы! — сказал он. — Стало быть, вы и впрямь шпион?



ПЕТУШИНЫЙ ЧАС

Глава первая

РУДНИКИ И РУДОКОПЫ

Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название *третьего* или *нижнего трюма*. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек; иногда это во благо, иногда — во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке *Энциклопедия* представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы развернуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.

Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой. Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватается за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, — этого дви-

жения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суэта. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких коях? Будущее.

Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится губительным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.

Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры — быть может, еще не родившихся людей. Люди прошлого — призраки; люди будущего — личинки. Наш мысленный взор еще неясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философа.

Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии — какие небывалые образы!

Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах.

Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками, — что неверно — однако, без сомнения, труд их весьма различен; мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно — бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они отступают в тень, они пренебрегают собой, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, и эти глаза ищут

истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь перед тем, кто отмечен этим знаком — звездным взглядом.

Взгляд, полный мрака, — другой знак.

С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.

Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.

Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. *Inferi*¹.

Дальше уже начинается бездна.

Глава вторая

САМОЕ ДНО

Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.

Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такие слова, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери — и обе им мачехи — невежество и нищета. У них есть поводырь — их потребности, а взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, чудовищное порождение, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в драко-

¹ Преисподняя (лат.).

на. Томиться голодом, томиться жаждой — вот отправная точка; стать князем тьмы — вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры.

Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя: Прогресс.

Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.

Мы утверждаем, что глубоко внизу, под обществом, существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.

Это подземелье залегает глубже других и враждебно другим. Здесь господствует беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф — эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат — аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.

Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывает под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.

У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами — улучшая существующую действительность или вглядываясь в то, что есть абсолют, — стремятся философия и прогресс. Разружьте нору Невежества, и вы уничтожите крота — Преступление.

Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это Мрак.

Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех — по крайней мере здесь, на земле — одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же брменная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человечества и становится Злом.

БАБЕТ, ЖИВОГЛОТ, ЗВЕНИГРОШ И МОНПАРНАС

С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.

Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание — как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу. Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду — и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, — вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая зря. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.

Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглоту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен-Мигэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами, металлоидами, а также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб — один франк пятьдесят сантимов; два зуба — два франка, три зуба — два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что случилось с его женой и детьми, он понятия не имел. Он потерял их где-то,

как теряют носовые платки. Редкое исключение в темном мире, его окружающем: Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в фургоне, ему попалась заметка в *Вестнике*, что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот счастье-то привалило! — воскликнул он. — Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!»

Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Это его собственное выражение.

Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак», — говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабет говаривал: «Звенигрош — это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя, — Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос, — он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо, — его никогда не видели иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.

Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на любое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого милостивого юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на его душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А настоящее щегольство — это преж-

де всего праздность; но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести было уже несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напoмаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице — таков был этот модник подземного мира.

Глава четвертая

СОСТАВ ШАЙКИ

Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, дерева, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскарade, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за толпу.

Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютившийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.

Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четверем негодяям план, а постановку они брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело подвернулось выгодное. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, готовых на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих вертепах.

Они собирались обычно с наступлением ночи — это был

час их пробуждения — на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить.

«Петушиный час» — под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все больше забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бантитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не признавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».

Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно точное представление о шайке по перечню бандитов. Вот на такие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час, — эти имена сохранились в особых списках:

Крючок, он же Весенний, он же Гнус.

Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним).

Башка, шоссейный рабочий; он уже встречался в нашем рассказе.

Вдова.

Финистер.

Гомер Огю, негр.

Дай-срок.

Депеша.

Фаунтлерой, он же Цветочница.

Бахвал, отбывший срок каторжник.

Шлагбаум, он же господин Дюпон.

Южный вал.

Дроздище.

Карманьольщик.

Процентщик, он же Бизарро.

Кружевник.

Вверх-тормашки.

Пол-лиарда, он же Два миллиарда.

И т. д., и т. д.

Мы опускаем другие, хотя они и не уступают перечислен-

ным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.

Эти существа, неохотно показывавшиеся в своем настоящем виде, нельзя было встретить на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.

Что случилось с этими людьми? Они существуют и сейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них: *Ambubaiarum collegia, pharmacopulae, mendici, mima*¹. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они беспрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.

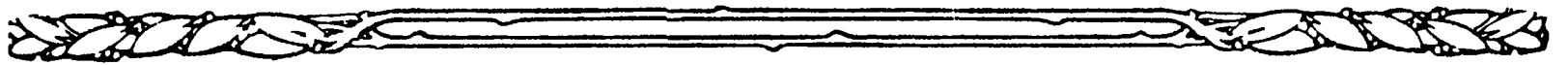
Пусть особи истребляются — род остается.

Им присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, все они блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чувствуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.

Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, а сгустками тумана, принявшими человеческие формы, можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, что они неотделимы от нее, что у них нет иной души, кроме души мрака, и что только на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от тьмы.

Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залей же светом общественное подземелье!

¹ Флейтщицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные (лат.) — стих из «Сатир» Горация.



КОВАРНЫЙ БЕДНЯК

Глава первая

МАРИУС, РАЗЫСКИВАЯ ДЕВУШКУ В ШЛЯПКЕ, ВСТРЕЧАЕТ МУЖЧИНУ В ФУРАЖКЕ

Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной маслєю — как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, строивший планы за планами, не молодая голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний: он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило: необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далее и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло.

Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя упреками. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил глупо. Это моя вина...» и т. д. Курфейрак, которого Мариус, по свойству своего характера, ни во что не посвящал, но который — что уже являлось свойствами его, Курфейрака, характера — кое о чем догадывался, вначале

похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Сходим-ка в Шомьер».

Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантеру повести себя на бал в Со, надеясь — придет же такая фантазия! — встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» — бурчал Грантер. Мариус оставил друзей на балу и пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.

Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался в отчаянии, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.

В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с женщиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седи́н, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы это все значило? Какова цель этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать, не напал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно — человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, — говорил он себе, — это просто сходство».

НАХОДКА

Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания.

Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж.

Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое Сре-тенье, коварное солнце которого, предвестник шестине-дельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на двусте-шие, ставшее классическим:

Пусть светит солнце, пусть сияет,—
Медведь в берлогу уползает.

А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смерка-лось. Пора было идти обедать, ибо — увы, таково несовер-шенство самой идеальной любви! — пришлось опять начать обедать.

Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой ма-маша Ворчунья мела пол, произнося одновременно ниже-следующий знаменательный монолог:

— Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь задаром!

Мариус медленно шел по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понури-вав голову.

Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях — одну вы-сокую и худую, другую поменьше; тяжело дыша, они пронес-лись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге; девушки бе-жали ему навстречу и, поравнявшись с ним, нечаянно задели его. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродли-вые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они раз-говаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглу-шенным голосом рассказывала:

— Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.

— Я их заметила, — сказала другая. — И как припущу! Как припущу!

Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандар-

мы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.

Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса; мелькнув белым пятном, их фигуры спустя мгновение исчезли.

Мариус приостановился.

Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног пакетик сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги.

«Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», — подумал Мариус.

Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.

По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.

«Бедные матери! — подумал он. — Еще печальнее, чем видеть смерть своих детей, видеть их на дурном пути».

Потом тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья, на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.

«Как мрачна стала моя жизнь! — говорил он себе. — Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы».

Глава третья

ЧЕТЫРЕХЛИКИЙ

Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем забыл о нем. Он решил, что его надо вскрыть, — возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения свертка лицу, его потерявшему.

Мариус развернул конверт.

Он был не запечатан и содержал четыре письма, которые также были не запечатаны.

На письмах были проставлены адреса.

От всех четырех разило дешевым табаком.

Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме №...»

Мариус подумал, что из письма он может почерпнуть нужные ему сведения, а раз оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его.

Оно содержало следующее:

«Милостивая государыня!

Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайне тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь нещасной нации. Наша просьба не останется щетной, а наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.

Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть,

Милостивая государыня,

Дон Альварес, испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющей средств продолжить путь».

Подпись не сопровождалось адресом. Мариус, в надежде найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло: «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом № 9».

Вот что прочел Мариус в этом письме:

«Милостивая государыня!

К Вам обращается нещасная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев, как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищите.

Уповая на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением

тетушка Бализар».

Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно оказалось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:

«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.

Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ошасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия — Овернь в эпоху Империи. Слог прост, лаконичен и имеет несомненные достоинства. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитается в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.

Главной моей задачей является угадать все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадать моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняет положение при каждом дуновении ветра.

Несмотря на все эти достоинства, я имею основания опасаться, что вследствие зависти и себелюбия привилегированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.

Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушает мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедственное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находиться под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы соблагovolите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихотварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихотварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.

Мое нижайшее почтение господину и госпоже Пабуржо.

Жанфло, литиратор.

Р. S. Хотя бы 40 су.

Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить...»

Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адресовано оно было: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Вот каково содержание этого немногословного письма:

«Благодетель!

Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедственного положения, а я представлю Вам свои документы.

При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сильные душевные движения.

Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облигчить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращаться за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.

В ожидании Вашего посещения или вспомоществования, если вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,

муж доподлинно великадушный, низайшим и покорнейшим слугой

П. Фабанту, драматический актер».

Когда Мариус прочитал эти четыре письма, его недоумение не рассеялось.

Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.

Далее, все письма исходили как будто от четырех разных лиц — дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.

Какое же иное заключение напрашивалось, как не то, что все они исходят от одного лица?

В довершение — и это делало догадку еще более вероятной — все четыре были написаны на грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел один и тот же табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки: литератор Жанфло грешил ими ничуть не менее испанского капитана.

Трудиться над разгадкой тайны было бесполезно. Не оказись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.

Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, которых Мариус встретил на бульваре. Скорее всего это были просто ненужные бумаги. Мариус вложил их в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.

Около семи часов утра, не успев он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.

У него не было никакого ценного имущества; лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, он запирался на ключ. Даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут», — говорила мамаша Ворчунья. «А что у меня красть?» — отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамыши Ворчуньи, у него украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали и опять так же тихо.

— Войдите, — сказал Мариус.

Дверь отворилась.

— Что вам угодно, мамаша Ворчунья? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.

— Извините, сударь, — ответил чей-то незнакомый голос.

Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.

Мариус живо обернулся и увидел девушку.

Глава четвертая

РОЗА В НИЩЕТЕ

В полуотворенной двери стояла совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжит день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в рубашке и юбке, которые были надеты прямо на голое тело, озябшее и дрожавшее от холода, с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, выступавшие из-под рубашки,

бледное, без признака румянца лицо, землистого цвета тело, красные руки, приоткрытый рот, в котором уже не хватало зубов, бескровные губы, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пятидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает ужас, то вызывает слезы.

Мариус встал и, остоленев, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.

Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродлива. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькая. Привлекательность юности еще и теперь боролись в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.

Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.

— Что вам угодно, сударыня? — спросил он девушку.

— У меня письмо для вас, господин Мариус, — ответила она тем же голосом пьяного каторжника.

Она назвала Мариуса по имени; таким образом, у него не оставалось сомнений, что нужен ей именно он. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?

Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно, с развязностью, от которой сжималось сердце, и принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги, худые колени. Ее всю трясло от холода.

Она протянула Мариусу письмо.

Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Молодой человек, любезный мой сосед!

Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себе надеждой, что ваше великодушное сердце разжалобится вследствие этого и внушит вам желание прийти на помощь и уделить малую толику от щедрот своих.

Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.

Жондрет.

Р. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».

Письмо это пролило свет на загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера; оно сыграло роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.

Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.

Здесь было пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей — и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту — у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только самого Жондрета действительно звали Жондретом.

Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как уже было сказано, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих жалких соседей. Его мысли были далеко, а куда обращены мысли — туда обращен и взгляд. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета, — а это, несомненно, были они, — он не узнал их, и вошедшая девушка с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше. Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в попрошайку-профессионала и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма разным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ — ни девочек,

ни девушек, ни женщин, — двух порожденных нищетой уро- дов, порочных и в то же время невинных.

То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру и к злу, едва вышед- шие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их раздавят колеса.

Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изум- ленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью приви- дения разгуливала по его мансарде. Движения девушки бы- ли порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть не до пояса. Она передвигала стулья, пере- ставляла на комод принадлежности туалета, трогала одеж- ду Мариуса, шарила по всем углам.

— Смотри-ка, да тут зеркало! — вдруг воскликнула она.

И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортан- ным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за нагло- стью ощущались натянутость, беспокойство, робость. Бес- стыдство порой скрывает стыд.

Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвившаяся и порхавшая по комнате девушка, которая своими движениями напоминала птицу, спутнутую дневным светом, или птицу с поднятым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринуж- денная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существ- во, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей.

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей.

Она подошла к столу.

— Ах, книги! — сказала она.

В ее тусклых глазах блеснул огонек.

— Я тоже умею читать, — добавила она. И в тоне ее слы- шалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, — стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.

Она схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:

— «...Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью ба- тальонами своей бригады замок Гутомон, расположенный на равнине Ватерлоо...»

Она остановилась.

— А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение

когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо — там дрались с англичанами.

Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:

— И писать я тоже умею!

Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:

— Хотите посмотреть? Я напишу что-нибудь.

И прежде чем он успел ответить, она написала на лежащем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».

— Ошибок нет,— бросив перо, заявила она.— Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы...

Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь:

— Э-эх!

И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:

Голодно, папаша,
В доме хлеба нету.
Холодно, мамаша,
Мы совсем раздеты.
Дрожи,
Нанетта,
Рыдай,
Жанетта!

Едва закончив куплет, она снова заговорила:

— Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.

Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:

— А знаете, господин Мариус, вы красавчик!

И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться.

Она подошла и положила ему руку на плечо.

— Вы не обращаете на меня никакого внимания,— продолжала она,— а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь, на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к старику Мабефу, который там живет. А растрепанные волосы вам очень идут.

Она старалась придать своему голосу самое нежное вы-

ражение, но, кроме хрипа, у нее ничего не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звук на клавиатуре, где не хватает клавиш.

Мариус тихонько отодвинулся.

— У меня тут пакет, — сказал он своим обычным холодным тоном. — Я полагаю, что он принадлежал вам, барышня. Разрешите вернуть его.

И он протянул ей конверт с четырьмя письмами.

Девушка захлопала в ладоши.

— И где мы только его не искали! — воскликнула она.

Затем схватила пакет и развернула его, приговаривая:

— Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, то уже ничего не нашли. Мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, ну мы и сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А как вы догадались, что они мои? Впрочем, понятно — по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой тьме! Я спросила сестру: «Это кто — мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».

Она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Се-Жак-дю-О-Па».

— Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне! Очень кстати. Пойду снесу — может, даст на завтрак.

И снова засмеявшись, пояснила:

— Знаете, что это будет значить, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед — и все в один присест! Так-то! Черт побери! А если вам этого мало, так и подышайте, собаки!

Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.

Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса:

— Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, прижмемся бывало друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночью в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как

вилы, а дома черные, огромные, как башни Собора Богоматери, мерещится, будто белые стены — это река, и говоришь себе: «Гляди-ка, там вода!» Звезды как плоски на иллюминации — кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь — слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то невесть что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь!

И она окинула его блуждающим взглядом.

Хорошенько обыскав карманы, Мариус нагреб пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне во всяком случае хватит, — подумал он, — а завтра будет видно». Оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.

Девушка схватила монету.

— Здорово! Вот нам и засветило солнышко! — воскликнула она.

И словно это солнышко обладало свойством растоплять лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:

— Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малек! Как тут не втюриться! Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, — жареного, пареного! Ешь, пей сколько влезет!

Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:

— До свидания, сударь! Все равно. Пойду к своему старикашке.

Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:

— Какая вкусная! Какая жесткая! Все зубы сломаешь! Потом ушла.

Глава пятая

ПОТАЙНОЕ ОКОНЦЕ, УКАЗАННОЕ ПРОВИДЕНИЕМ

В течение пяти лет Мариус жил в бедности в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И в самом де-

ле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел — надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел — надо видеть в нищете ребенка.

Дойдя до последней крайности, мужчина, не разбираясь, хватается за самые крайние средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него нет ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри — светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадают двое слабых — женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор.

Тут возможны всякие ужасы. Перегородки, отделяющие отчаяние от порока или преступления, слишком хрупки.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость — эта эпидерма души, — все безжалостно попирается в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, принимают и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине теснятся они в конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.

Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.

Мариус готов был винить себя в том, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв, — каждый на его месте повиновался бы такому порыву, но от него, Мариуса, требовалось большее. Ведь только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В их речах звучал стон, но до него это не доходило. Его мысли были поглощены

инным: грезами, несбыточными мечтами, недостижимой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья, потому что они вышли из того же народа, что и он, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых, даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впад в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом — роковым словом «отверженные». Кого же в этом винить? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?

Читая себе эту мораль, — а ему, как всякому честному человеку, случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал, — Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаюсь проникнуть взором за перегородку и согреть им несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше этого не заметить. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса; все грубое ее устройство было на виду. Не отдавая себе в этом отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку; мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», — подумал Мариус.

Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.

ХИЩНИК В СВОЕМ ЛОГОВЕ

В городах, как и в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно — иначе говоря, безобразно, а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво — иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.

Именно вертеп и увидел Мариус.

Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно: смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, битые склянки, две неописуемо грязные постели по углам — вот и вся мебель; четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца — вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены — все в струпьях и рубцах, как лицо, обезображенное ужасной болезнью. Сырость сочилась из них подобно гною. Всюду виднелись начерченные углем непристойные рисунки.

В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, а тут не было не плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по почерневшей известке. На этой неровной, густо покрытой въевшейся пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье; впрочем, в комнате был камин, потому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головни.

Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что он был огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и человекообразные чудовища.

Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.

В углу, недалеко от отверстия, в которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке. А под гравюрой крупными буквами было написано «СОН». Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях; женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка; в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную надписью:

МОРЕНГО
АУСТЕРЛИС
ИЕНА
ВАГРАМ
ЭЛОУ

Под гравюрой, на полу, была прислонена к стене широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся повесить опять.

За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестким, беспокойным взглядом; на вид — отъявленный негодяй.

Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, удваивали уродство этого лица, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника придавали крючкотвору нечто страшное.

У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.

Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.

Он что-то писал, вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, напечатанное крупными прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ И ДРАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕ-ДЮМИНИЛЯ, 1814 г.».

Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетели его слова:

— Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, неудачников — чего с ними церемониться! — закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз увязнешь.

Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:

— Так бы и перегрыз всем горло!

У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой на вид можно было дать и сорок, и сто лет.

Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала толстые, лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями.

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, вероятно, продолжение романа.

На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно-бледную долговязую девочку — она сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала.

Это, конечно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.

На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «А я как припущу! Как припущу!»

Она принадлежала к той хилой породе, которая долго отстаёт в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. Именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать — двадцатилетними. Сегодня — девочка, завтра — женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.

Сейчас это создание казалось еще ребенком.

Ничто в комнате не указывало на занятие каким-либо тру-

дом: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся подозрительный железный лом. Здесь царила угрюмая лень — спутница отчаяния и предвестница смерти.

Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь.

Чердак, подвал, подземелье, где копошатся бедняки, те, что находятся у подножия социальной пирамиды, — это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, бросает к этим вратам своим самую беспросветную нужду.

Старик умолк, женщина не приносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера.

Старик проворчал, не переставая писать:

— Сволочь! Сволочь! Крутом одна сволочь!

Этот вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.

— Успокойся, дружок! — промолвила она. — Не огорчайся, душенька! Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.

В бедности люди жмутся друг к другу, точно от холода, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что эта женщина любила мужа, проявляла всю заложенную в ней способность любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как это часто случается, пережили чувство. Уста говорили «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.

Старик снова принялся писать.

Глава седьмая

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, как вдруг внимание его привлек шум; это удержало его.

Дверь чердака внезапно распахнулась.

На пороге появилась старшая дочь.

Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные

грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел: она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе больше сострадания, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжественно и радостно крикнула:

— Идет!

Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.

— Кто идет? — спросил отец.

— Тот господин.

— Филантроп?

— Да.

— Из церкви святого Иакова?

— Да.

— Тот самый старик?

— Да.

— И он придет?

— Сейчас. Следом за мной.

— Ты уверена?

— Уверена.

— В самом деле придет?

— Едет в наемной карете.

— В карете! Да это настоящий Ротшильд!

Отец встал.

— Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо, последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?

— Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина, — ответила дочка. — Слушай. Вхожу я в церковь; благодетель на обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» «Я провожу вас, сударь», — говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна кое-что купить, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я даю ему адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба кончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно, не забыла сказать, что наша дверь последняя, в конце коридора, направо.

— Откуда же ты взяла, что он приедет?

— Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.

— А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?

— Да ведь я же заметила номер!

— Ну-ка, скажи, какой?

— Четыреста сорок.

— Так. Ты, девка, не дура.

Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила:

— Может быть, и не дура, но только я не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны,— во-первых, в них простудиться можно, а потом грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу: чав, чав, чав! Уж лучше буду босиком ходить.

— Верно,— ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочери,— но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господу богу вход босиком воспрещен,— добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил:— Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?

— За мной по пятам едет,— сказала она.

Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.

— Слышишь, жена? — крикнул он.— Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.

Мать, опешив, не двигалась с места.

Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на каминном кувшине с отбитым горлышком и плеснул воду на головни.

Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:

— Тащи-ка солому из стула!

Дочь не поняла.

Схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.

— На дворе холодно? — спросил он у дочери, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.

— Очень холодно. Снег валит.

Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал:

— Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!

Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати.

— Выбивай стекло! — повторил он.

Она застыла в изумлении.

— Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! — снова крикнул отец.

Девочка с пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло со звоном разлетелось на мелкие осколки.

— Хорошо, — сказал отец.

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.

Ни дать ни взять полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.

Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:

— Что это ты задумал, голубчик?

— Ложись в постель! — последовал ответ.

Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно повалилась на кровать.

В углу слышался плач.

— Что там еще? — закричал отец.

Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда она забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.

Тут настал черед матери. Она вскочила с криком:

— Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.

— Тем лучше, это было мною предусмотрено, — сказал муж.

— То есть как, тем лучше? — завопила женщина.

— Молчать! Я отменяю свободу слова, — объявил отец.

Оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточащую руку девочки.

Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.

— Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.

Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы проникал туман и расползался по всему жилищу; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно укутывают комнату в белесую вату. В разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце Срестья, и в самом деле наступил.

Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно.

Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал:

— Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.

Глава восьмая

ЛУЧ СВЕТА В ПРИТОНЕ

Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:

— Пощупай, как я озябла!

— Подумаешь! Я озяб еще больше, — ответил отец.

Мать запальчиво крикнула:

— Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!

— Заткнись! — сказал муж.

Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.

Наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая всхлипывала; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, тихонько приговаривала:

— Ну, перестань, мое сокровище, это скоро заживет. не плачь, а то рассердишь отца.

— Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! — крикнул отец и обратился к старшей: — Дьявольщина, его все нет! А вдруг он не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.

— И дочурку поранил! — прошептала мать.

— Известно ли вам, — продолжал отец, — что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей! Всех богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унижить нас! Одарить нас одеждой! Поихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су, — одежда! Одарить хлебом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но денег-то они как раз и не дают! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют, и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не-

плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и хорошенько встряхнуть! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, так-то лучше! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая разина...

Тут в дверь тихонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:

— Входите, сударь! Окажите честь войти, глубокопочтимый благодетель, а также ваша прелестная барышня.

На пороге появились мужчина зрелого возраста и молодая девушка.

Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.

То была Она.

Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл короткого слова «Она».

Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно заставшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вот — появилось вновь.

Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!

Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после долгих поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.

Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожек.

Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый.

Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и утрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.

Глава девятая
ЖОНДРЕТ ЧУТЬ НЕ ПЛАЧЕТ

В конуре было темно, и всякий входивший сюда с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребѣ. Оба посетителя подвигались нерешительно, еле различая смутные очертания фигур, а обитатели чердака, привыкшие к сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их ясно.

Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:

— Сударь! Здесь, в свертке, вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.

— Посланец божий, благодетель наш! — воскликнул Жондрет, кланяясь до земли.

Пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:

— Ну? Что я говорил? Обноски! А денежки где? Все господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?

— Фабанту, — отвечала дочь.

— Драматический актер, великолепно.

Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:

— Я вижу, что вы в плачевном положении, господин...

— Фабанту, — быстро подсказал Жондрет.

— Господин Фабанту, да, так... Вспомнил.

— Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа».

— Я ученик Тальма, сударь! — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра, и самоуничижение нищего с проезжей дороги. — Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой: нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую погоду! Супруга в постели! Больна!

— Бедняжка! — сказал г-н Белый.

— И дочурка поранилась, — добавил Жондрет.

Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.

— Плачь! Реви! — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за

больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.

Девочка громко заплакала.

Прелестная девушка, которую Мариус звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:

— Бедная детка!

— Взгляните, милая барышня, — продолжал Жондрет, — у нее рука в крови! Несчастный случай, — попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять руку!

— Неужели? — встревоженно спросил старик.

Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать сильнее.

— Увы, это так, благодетель! — ответил папаша.

Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и шепнул ей:

— Вглядись-ка в него получше!

Затем он обернулся к г-ну Белому, и опять полились его плаксивые жалобы:

— Подумайте, сударь, вся моя одежда — женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые холода. Не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадмуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Турде-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я делил с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь! Я готов пасть на колени перед монетой в десять су!

Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно видит вас... Я воспитываю дочек в благочестии, сударь. Мне не хотелось, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Только попробуйте ос-

лушаться! Со мной шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что рождаются со всем светом. Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.

Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил на стол.

Жондрет буркнул на ухо старшей дочери:

— Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!

В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.

— Господин Фабанту! — сказал он. — У меня только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны уплатить вечером?..

В глазах Жондрета промелькнуло странное выражение. Он поспешил ответить:

— Да, глубокоуважаемый покровитель, В восемь часов я должен быть у домохозяина.

— Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.

— Благодетель! — в восторге завопил Жондрет.

И чуть слышно добавил:

— Всмотрись в него хорошенько, жена!

Господин Белый снова взял под руку прелестную девушку и направился к двери.

— До вечера, друзья мои! — сказал он.

— В шесть часов? — переспросил Жондрет.

— Ровно в шесть.

Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.

— Сударь! Вы забыли ваш редингот,— сказала она.

Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.

Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:

— Я не забыл, я нарочно оставил его.

— О мой покровитель! — воскликнул Жондрет. — Мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слезы. Позвольте, я провожу вас до фиакра.

— Если вы хотите выйти, то наденьте сюртук,— сказал Белый. — На дворе очень холодно.

Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро надел на себя коричневый редингот.

Они вышли втроем: Жондрет впереди, за ним посетители.

Глава десятая

ТАКСА НАЕМНОГО КАБРИОЛЕТА: ДВА ФРАНКА В ЧАС

Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в девушку, сердце его, так сказать, ухватило за нее и словно вобрало всю целиком, едва она вступила за порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.

Пока девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с поранившейся девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он был в этом не вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалобными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, что в отвратительной трущобе, среди челове-

ского отребья, он нашел это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.

Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока он не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая — Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать... Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатиł обратно в Париж.

Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он снова увидел экипаж, быстро ехавший по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Напрасно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут — чудесная, неслыханная случайность! — Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать за фиакром. Это был верный, реальный и безопасный выход.

Мариус знаком остановил экипаж.

— Почасно! — крикнул он.

Мариус был без галстука, в старом сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.

Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.

— Что такое? — спросил Мариус.

— Плата вперед, — сказал кучер.

Мариус вспомнил, что у него было всего шестнадцать су.

— Сколько? — спросил он.

— Сорок су.

— Уплачу по приезде.

Вместо ответа кучер засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел вслед удалявшемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру несчастной дочери Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он вновь связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою каморку в полном отчаянии.

Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только лучше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.

В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.

Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падавшего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.

Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, похож на человека, у которого была кличка Крючок, он же Весенний, он же Гнус; на него как-то указал ему Курфейрак; в квартале он пользовался репутацией опасного ночного гуляки. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. В описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Бандиты и грабители помнят его и сейчас. В конце последнего царствования он создал целую школу. В сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы

Форс. В этой тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было прочесть над плитой, закрывавшей отверстие сточной трубы, его имя: Крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще в серьезных делах не участвовал.

Глава одиннадцатая

НИЩЕТА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ГОРЮ

Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, как вдруг заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку — ведь именно к ней и перешли его пять франков, — но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители; очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Однако она не закрылась плотно; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.

— Что такое? Кто там? — спросил он и увидел дочь Жондрета.

— Это вы? — почти грубо продолжал Мариус. — Опять вы? Что вам от меня нужно?

Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре — Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.

— Отвечайте же! — воскликнул Мариус. — Что вам от меня нужно?

Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, засветился огонек, и сказала:

— Господин Мариус! У вас такой печальный вид! Что с вами?

— Со мной?

— Да, с вами.

— Ничего.

— Что-то все-таки есть!

— Нет!

— Я говорю — есть.

— Оставьте меня в покое.

Мариус снова толкнул дверь, но девушка продолжала придерживать ее.

— Слушайте, это вы зря, — сказала она. — Вы небогаты, а какой были добрый утром! Ну станьте опять таким! Вы мне дали на пропитание. Скажите же: что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчились. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказать, но все-таки я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу! Понадобится отнести письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь — посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной.

У Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!

Он приблизился к дочери Жондрета.

— Послушай... — сказал он.

Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули:

— Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.

— Хорошо, — продолжал он. — Ведь это ты привела сюда старика с дочкой...

— Да.

— Ты знаешь их адрес?

— Нет.

— Узнай мне его.

Угрюмый взгляд девушки, ставший радостным, теперь снова стал мрачным.

— Только это вам и надо? — спросила она.

— Да.

— Вы с ними знакомы?

— Нет.

— Иначе говоря, — живо перебила его девушка, — вы не знакомы с нею, но хотите познакомиться.

Это «с нею» вместо «с ними» было произнесено значительно и с горечью.

— Ну как? Сумеешь? — спросил Мариус.

— Я добуду вам адрес красивой барышни.

Тон, каким были произнесены слова «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал:

— В конце концов не важно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.

Она пристально посмотрела на него.

— Что вы мне за это дадите?

— Все, что пожелаешь.

— Все, что пожелаю?

— Да.

— Вы получите адрес.

Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот все время ускользающих мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от несчастной девушки, луч надежды, блеснувший в минуту беспредельного отчаяния, — вот что проносилось в его мозгу.

Вдруг его задумчивость была грубо прервана.

Громкий и резкий голос Жондрета произнес крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:

— Говорят тебе, я уверен! Я его узнал.

О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели, наконец, он узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!

Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у потайного окошечка в переборке.

И снова увидел внутренность логова Жондрета.

Глава двенадцатая

НА ЧТО БЫЛА ИСТРАЧЕНА ПЯТИФРАНКОВАЯ МОНЕТА Г-НА БЕЛОГО

С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что жена и дочери успели вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.

Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.

Наконец жена, видимо потрясенная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:

— Неужели правда? Ты уверен?

— Конечно, уверен! Прошло восемь лет. И все-таки я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?

— Нет.

— Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, — некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются, — ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись!

Он остановился, крикнул дочерям:

— Эй, вы, убирайтесь отсюда! — И, обращаясь к жене, добавил: — Чудно, что тебе не бросилось в глаза.

Дочери покорно встали.

— С больной рукой!.. — пробормотала мать.

— Воздух ей на пользу, — отрезал Жондрет. — Убирайтесь.

Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.

В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и многозначительным тоном сказал:

— Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобятся. Это заставило Мариуса удвоить внимание.

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:

— Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица...

— Ну? Что такое? — подхватила жена. — Что девица?

У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и громко закончил:

— Это она!

— Вот эта? — спросила жена.

— Вот эта! — подтвердил муж.

Трудно передать выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова «вот эта». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось в зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха ожилилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.

— Быть не может! — закричала она. — И подумать только, что мои дочери ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки — словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Дама, да и только! Да нет же, ты ошибся. Во-первых, та была уродина, а эта недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!

— А я тебе говорю — она. Сама увидишь.

При столь категоричном утверждении тетка Жондрет подняла широкое кирпично-красное лицо и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. Это была свинья с глазами тигрицы.

— Вот как, — прошипела она. — Значит, эта расфуфыренная барышня, которая так жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы!

Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.

После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.

— А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

— Ну что? — спросила она.

— Да то, что я теперь богач, — ответил он отрывисто и тихо.

Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?»

Жондрет продолжал:

— Проклятие! Довольно я хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надомной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, предвечный бог! Я желаю есть вдоволь, пить вдоволь! Жрать!

Дрыжнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед,— мой, вот что! Пока не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!

Он прошелся по своей конуре и прибавил:

— Не хуже иных прочих.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила жена.

Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:

— Что я хочу сказать? Слушай!

— Тсс... — заворчала тетка Жондрет. — Потихе! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.

— Вот еще! Кому слушать-то? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он поймет, эта глупая башка? А потом, я тебе говорю, что он ушел.

Тем не менее Жондрет инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов.

Вот что услышал Мариус:

— Понимаешь, он попался, богатеи! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, мерзавец! Чего только я ему не наплел? Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед раньше одиннадцати не возвращается. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он с нами расквитается.

— А вдруг не расквитается? — спросила жена.

Жондрет сделал угрожающий жест.

— Тогда мы расквитаемся с ним.

И засмеялся.

Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробежала по телу.

Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.

— Ну, я уйду, — сказал он. — Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.

Засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:

— А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня — ни за что бы не пришел! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка!

И он опять засмеялся.

Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.

— Собачья погода! — сказал он и, запахнув редингот, добавил: — Эта шкура немного широковата. Ну ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит!

Нахлобучив фуражку, он вышел.

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.

— Совсем забыл, — сказал он. — Приготовь жаровню с угольями.

Он кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».

— Жаровню с углем? — переспросила жена.

— Да.

— Сколько мер угля купить?

— Две с верхом.

— Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.

— К черту обед!

— Почему?

— Не вздумай растратить всю монету, все сто су.

— Почему?

— Потому что мне тоже нужно кое-что купить.

— Что же?

— Да так, кое-что.

— Сколько тебе на это потребуется?

— Где тут у нас ближняя скобяная лавка?

— На улице Муфтар.

— Ах да, на углу, знаю!

— Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на покупки?

— Пятьдесят су, а может, и все три франка.

— Не много остается на обед.

— Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.

— Как знаешь, мое сокровище.

Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услы-

шал, что его шаги, быстро удалявшиеся по коридору, мало-помалу затихли на лестнице.

На Сен-Медарской колокольне пробило час.

Глава тринадцатая

SOLUS CUM SOLO, IN LOCO REMOTO, NON COGITABUNTUR ORARE «PATER NOSTER»¹

Несмотря на то, что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила способность негодовать; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; его глазам предстало гнездо чудовищ.

«Надо уничтожить этих негодяев», — подумал он.

Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если не считать того, что Жондрет их, оказывается, знал. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка, — непонятная, но ужасная ловушка; что над ними обоими нависла огромная опасность: над девушкой — возможно, над стариком — несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.

Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.

Он осторожно, бесшумно спустился с комода.

Полный страха перед тем, что готовилось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в

¹ Если двое встречаются с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» (лат.).

бездонные глубины Парижа. Ждать Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хочет спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.

Оставалось одно.

Он надел сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.

Вдобавок тетка Жондрет продолжала гроыхать железом.

Выйдя из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.

Пройдя половину улицы, он увидел отгораживавшую пустыр низкую стену, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг совсем рядом он услышал голоса. Он оглянулся. Улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.

Ему пришло в голову заглянуть за ограду.

Сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.

Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородач, в блузе, другой — лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, непокрытую голову его собеседника запустил снег.

Наклонившись над стеной, Мариус мог слышать их беседу.

Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача:

— Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.

— Так ли? — усомнился бородач.

— Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, ну по десять, не больше! — возразил лохматый.

— Уж это-то наверняка. Тут не отвертишься, — стуча зубами от холода, нерешительно заметил бородач в греческом колпаке.

— А я тебе говорю, что промашки не будет, — настаивал лохматый. — Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.

Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гете.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что непонятная речь субъектов, подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо на снегу, возможно, имеет некоторое отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое дело.

Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.

Ему сказали, что на улице Понтуаз, в доме № 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.

Размышляя дорогой, он возблагодарил Провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром Белого и ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.

Глава четырнадцатая

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДАЕТ АДВОКАТУ ДВА КАРМАННЫХ ПИСТОЛЕТА

Подойдя к дому № 14 на улице Понтуаз, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.

— Господин полицейский пристав сейчас в отсуствии, — сказал один из писарей, — но его заменяет надзиратель. Может быть, вы поговорите с ним? У вас спешное дело?

— Да, — ответил Мариус.

Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.

С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.

— Что вам угодно? — обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».

— Вы — господин полицейский пристав?

— Его нет. Я его заменяю.

— Я по весьма секретному делу.

— Говорите.

— И весьма срочному.

— Говорите скорее.

Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что человека, которого он, Мариус, знает лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Поинмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности, «хозяева застав», в том числе Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, потому что даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме № 50/52.

Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:

— Комната в конце коридора?

— Совершенно верно, — подтвердил Мариус и добавил: — Разве вы знаете этот дом?

Надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:

— По-видимому, так.

Он продолжал цедить сквозь зубы, обращаясь не столько к Мариусу, сколько к собственному галстуку:

— Тут без Петушиного часа не обошлось.

Его слова поразили Мариуса.

— Петушиный час... — повторил он. — В самом деле, я слышал эти слова.

Он рассказал надзирателю о диалоге между лохматым и бородачом на снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.

Надзиратель пробурчал:

— Лохматый — должно быть, Брюжон, а бородатый — Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и предался размышлениям.

— Ну, а насчет папаши Бесфамильного, — присовокупил

он, — я тоже догадываюсь... Так и есть, я подпалил каррик!.. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят — пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо.

Он взглянул на Мариуса:

— Вы видели только бородача и лохмача?

— И Крючка.

— А этакого молоденького франтика?

— Нет.

— А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?

— Нет.

— А этакого пройдоху, с виду старого паяца?

— Нет.

— Ну, а четвертый — тот вообще невидимка, даже для своих помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.

— Действительно, не заметил. А что это за люди? — спросил Мариус.

— Впрочем, это совсем не их час... — вместо ответа сказал надзиратель.

Он помолчал, потом заговорил снова:

— Пятьдесят — пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются тем, что отменят водевиль. Это народ скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставляю их поплясать.

Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:

— Вы боитесь?

— Кого?

— Этих людей?

— Не больше, чем вас, — мрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик ни разу не назвал его сударем.

Надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какой-то нравоучительной торжественностью:

— Вы говорите как человек смелый и честный. Мужество не страшится зрелища преступления, честность не страшится властей.

— Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? — прервал его Мариус.

Надзиратель ограничился таким ответом:

— У всех жильцов дома пятьдесят — пятьдесят два есть ключи от наружных дверей: ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?

— Да, — ответил Мариус.

— Он при вас?

— Да.

— Дайте его мне, — сказал надзиратель.

Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:

— Послушайте меня, приходите с охраной.

Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, запустив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика вытащил оттуда два стальных пистолета, из тех, что называются карманными. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:

— Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда решите, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок — все равно куда. Главное — не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы — адвокат, вы понимаете, как это важно.

Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.

— Очень топорщится, сразу заметно. Лучше суньте их в жилетные карманы, — сказал надзиратель.

Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.

— А теперь, — продолжал надзиратель, — нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?

— К шести, — ответил Мариус.

— Время у меня есть, — сказал надзиратель, — а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.

— Будьте покойны, — ответил Мариус.

Когда он взялся за ручку двери, собираясь выйти, надзиратель крикнул:

— Кстати, если я вам понадобится раньше, приходите сюда или пришлите кого-нибудь. Спросите полицейского надзирателя Жавера.

Глава пятнадцатая
ЖОНДРЕТ ДЕЛАЕТ ЗАКУПКИ

Немного погода, часов около трех, Курфейрак и Боссюэ шли по улице Муфтар. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.

— Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек,— начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса,— тот шел к заставе, и вид у него был какой-то странный.

— Смотри-ка! Мариус!— воскликнул Боссюэ.

— Вижу,— сказал Курфейрак.— Только не стоит с ним заговаривать.

— Почему?

— Он занят.

— Чем?

— Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?

— Какое?

— Да такое, будто он кого-то выслеживает.

— Верно,— согласился Боссюэ.

— А какие у него глаза! — заметил Курфейрак.— Ты только взгляни на него.

— Какого же черта он выслеживает?

— Какой-нибудь помпончик-бутончик. Он влюблен.

— Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутона, — заметил Боссюэ.— Словом, ни одной девицы.

Курфейрак посмотрел в сторону Мариуса.

— Мариус выслеживает мужчину! — воскликнул он.

В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; видели они только его спину, но сбоку можно было различить его седоватую бороду.

На нем был новый, длинный, не по его росту редингот и ужасные рваные брюки, побуревшие от грязи.

Боссюэ расхохотался.

— Это еще что за тип, а?

— Поэт,— заявил Курфейрак,— безусловно, поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют в штанах торговцев кроличьими шкурками и в рединготах пэров Франции.

— Давай посмотрим, куда направятся Мариус и этот человек,— предложил Боссюэ.— Выследим их, идет?

— О Боссюэ! — воскликнул Курфейрак.— Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!

Они повернули обратно.

И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.

Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, что он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он вышел из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и немного погодя был уже на Малой Банкирской улице. День склонялся к вечеру, снег, на минуту прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда, безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, дойдя до низкой стены, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.

Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.

Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время близилось к вечеру; по вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запираť входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал ключ надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться.

Наступил вечер, почти совсем стемнело; на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка — то была луна.

Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус быстрым шагом направился к дому № 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась открытой. Он на цыпочках поднялся по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки; все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус проби-

рался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, слабо освещенные утасавшим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть — он боялся, как бы его не увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.

Глава шестнадцатая,

**В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УСЛЫШИТ ПЕСЕНКУ
НА АНГЛИЙСКИЙ МОТИВ, МОДНУЮ В 1832 ГОДУ**

Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, — так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны приближалось злодейство, с другой надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием, из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день — лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.

Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, сливаясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату сумеречной мглой.

У Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.

Было ясно, что этот луч — не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха — там царила леденящая душу, глухая тишина; и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.

Мариус тихонько снял ботинки и сунул их под кровать.

Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула дверь, и Мариус услышал грузные шаги, протопавшие по лестнице и пробежавшие по коридору; со стуком приподнялась щеколда: это вернулся Жондрет.

Сразу слышались голоса. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.

— Вот и я, — сказал Жондрет.

— Добрый вечер, папочка! — завизжали дочери.

— Ну как? — спросила жена.

— Помаленьку, — отвечал Жондрет, — но я прозяб, как собака, ноги окоченели. Ага, ты приделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.

— Я готова, могу идти.

— Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Все сделаешь, как надо?

— Будь спокоен.

— Дело в том... — сказал Жондрет. И не закончил фразу.

Мариусу было слышно, что он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности — купленное им долото.

— Кстати, вы уже поели? — спросил Жондрет.

— Да, — ответила жена. — У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла, — спасибо, огонь еще был.

— Отлично, — сказал Жондрет. — Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше!

И, понизив голос, добавил:

— Мышеловка открыта. Коты начеку.

И еще тише:

— Сунь-ка это в огонь.

Мариусу было слышно, как потрескивают угли, которые помещивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом.

— Дверные петли смазала, чтобы не скрипели? — спросил Жондрет.

— Да, — ответила жена.

— Который теперь час?

— Скоро шесть. Недавно пробило половину шестого на Сен-Медаре.

— Черт возьми! — воскликнул Жондрет. — Девчонкам пора идти караулить. Эй, вы, идите-ка сюда, слушайте!

Они зашушукались.

Потом снова слышался громкий голос Жондрета:

— Бюргонша ушла?

— Да, — ответила жена.

— Ты уверена, что у соседа никого нет?

— Он с утра не возвращался. Ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.

— Ты в этом уверена?

— Уверена.

— Все равно,— сказал Жондрет,— невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.

Мариус опустился на четвереньки и бесшумно залез под кровать.

Едва успел он свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях просочился свет.

— Па-ап, его нет! — раздалось в коридоре.

Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.

— Ты входила в комнату? — спросил отец.

— Нет,— ответила дочь,— но раз ключ в дверях, значит, он ушел.

— А все-таки войди! — крикнул отец.

Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.

Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неопишуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг передвигаемых железных предметов.

Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:

Семь или восемь дней пылал огонь сердечный,
И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас!
Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной!
Но счастье лишь блеснет и покидает нас.

Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.

Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:

— Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!

Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.

— Ну что же ты? — крикнул отец.— Куда запропастилась?

— Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью,— отвечала она, взбивая волосы.— Никого.

— Дуреха! — заревел отец.— Сейчас же сюда! Нечего время терять.

— Иду! Иду! Им вечно некогда! — сказала она и стала напевать:

Вы бросили меня, ушли дорогой славы,
Но сердцем горестным везде я там, где вы...

Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.

А через минуту Мариус услышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:

— Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой — угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас.

Старшая проворчала:

— Попробуй покарауль босиком на снегу!

— Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! — сказал отец.

Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.

В доме остались Мариус, чета Жондретов и, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустовавшей каморки.

Глава семнадцатая

НА ЧТО БЫЛА ИСТРАЧЕНА ПЯТИФРАНКОВАЯ МОНЕТА МАРИУСА

Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение, с проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке.

Он заглянул внутрь.

Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище. Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему от туда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, — той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно, положенных здесь неспроста: одна была похожа на связку веревок, другая на

кучу железного лома. Человек, не посвященный в то, что здесь замышлялось, мог бы предположить и самое худшее и самое безобидное. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.

От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.

Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.

Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылавшее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем, даже когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.

Ветер, врываясь через разбитое окно, рассеивал чад и помогал скрывать присутствие жаровни.

Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о жилище Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.

Толща стен и множество необитаемых помещений отделяли эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.

Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смсются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, живо напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки — те самые, которыми утром побрезговала ее дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!»

А на Жондрете был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный Белым, и в его костюме по-преж-

нему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта.

Вдруг Жондрет возвысил голос:

— Постой! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подыметсся, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.

— А деньги где? — спросила жена.

Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.

— Это еще откуда? — воскликнула она.

— Тот лобанчик, что дал утром сосед, — с важным видом ответил Жондрет и прибавил: — Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.

— Зачем?

— Чтобы было на чем сидеть.

У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:

— Ладно! Пойду приволоку их от соседа.

Она быстро отворила дверь и вышла в коридор.

Мариусу не хватило времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.

— Возьми свечу! — крикнул Жондрет вдогонку.

— Не надо, — сказала она, — только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.

Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.

Тетка Жондрет вошла в комнату.

Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.

Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.

Она вернулась в свою конуру.

— Вот тебе стулья.

— А вот и фонарь, — сказал муж. — Спускайся, живо!

Она быстрым шагом вышла из комнаты, и Жондрет остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял за бесформенную кучу хлама, оказалось отлично сложенной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.

Ни лестницы, ни похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета; очевидно, он принес их днем, когда Мариус уходил.

«Это кузнечные инструменты», — подумал Мариус.

Если бы Мариус лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за орудия кузнеца особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты — два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».

Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, комната освещалась только свечой; от самого маленького черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в жутком и зловещем покое. В воздухе нависло ожидание чего-то страшного.

Жондрет дал своей трубке погаснуть — верный признак озабоченности — и снова сел за стол. Пламя свечи освещало острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и взмахивал правой рукой, как бы возражая на последние доводы грозного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.

Мариус нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок.

Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск.

Жондрет вздрогнул и привстал.

— Кто там? — крикнул он.

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушался, затем проговорил смеясь:

— Ну и болван же я! Это трещит перегородка.

Мариус зажал пистолет в руке.

Глава восемнадцатая
**ДВА СТУЛА МАРИУСА СТАВЯТСЯ
ОДИН ПРОТИВ ДРУГОГО**

Внезапно стекла задребезжали от унылого далекого звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда слышался шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Затем принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» — пробормотал он, возвращаясь на свое место.

Не успел он сесть, как дверь отворилась.

Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабясь отвратительной льстивой улыбкой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.

— Милости просим, сударь! — сказала она.

— Милости просим, благодетель вы наш! — вскочив, подхватил Жондрет.

Появился Белый.

Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение.

Он положил на стол четыре золотых.

— Господин Фабанту! — заговорил он. — Вот вам на квартиру и на неотложные расходы. А дальше будет видно.

— Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! — вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал:

— Отошли фиакр.

Покуда ее муж кланялся и пододвигал стул Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись, она шепнула ему на ухо:

— Отослала!

Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал, как подкатил фиакр и как он отъехал.

Белый сел.

Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.

Чтобы лучше представить себе то, что сейчас произойдет, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белевшие в лунном свете, словно огромные саваны, огоньки уличных фонарей, бросающие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; гухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; дом Горбо в час глубочайшей

тишины и жуткого мрака, а в этой развалине, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе — двух человек, сидевших за одним столом: Белого, сохранявшего невозмутимый вид, и ухмылявшегося страшного Жондрета, в углу старую волчицу Жондрет, а за перегородкой — невидимого Мариуса, не упускавшего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.

Мариус не испытывал страха; им владело лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодя, как только сочту нужным», — думал он.

Он знал, что полиция близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника.

Помимо всего прочего, он надеялся, что трагическое столкновение Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.

Глава девятнадцатая

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТЕМНЫХ УГЛОВ

Окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, Белый спросил:

— Как себя чувствует бедное раненое дитя?

— Плохо, — отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой, — очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.

— А госпоже Фабанту как будто лучше? — продолжал Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя у двери, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.

— Она смертельно больна, — заявил Жондрет. — Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это не женщина, а бык.

Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:

— Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!

— Жондрет? — удивился г-н Белый. — Я полагал, что вас зовут Фабанту?

— Фабанту, а по сцене — Жондрет, — нашелся муж. — Псевдоним артиста.

Взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил Белый, и снова затянул слащавым, воркующим голосом:

— Мы с моей милой женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь! Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров — честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как, ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы у них был кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! У нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!

Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой торопливостью, что не соответствовало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа двери. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная, зиявшая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками; лицо у него было вымазано сажей. Скрестив руки, он молча сидел на ближайшей кровати за теткой Жондрет, так что его почти не было видно.

Повинуясь внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, Белый посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.

— Ага, понимаю! — с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, — застегивая на себе пуговицы. — Вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!

— Что это за человек? — спросил Белый.

— Это?.. — протянул Жондрет. — Это так, сосед. Не обращайтесь на него внимания.

Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо

расположено несколько химических заводов. У рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность Белого говорила о полном доверии, в нем не чувствовалось и тени страха.

— Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?

— Я говорил, мой дорогой покровитель, — подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в Белого неподвижный и ласковый взгляд, слегка напоминавший взгляд удава, — я говорил, что у меня продается картина.

Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели за теткой Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.

Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, Белый заметил и его.

— Не беспокойтесь, — продолжал Жондрет, — это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина... Вот, сударь, извольте поглядеть.

Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу упоминавшаяся нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только грубую мазню, нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было намалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.

— Что это такое? — спросил Белый.

Жондрет воскликнул с восторгом:

— Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.

Было ли это случайно или потому, что он начал испытывать беспокойство, но только г-н Белый перевел взгляд с картины в глубину комнаты. Там уже оказалось четыре человека — трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо — с голыми руками, неподвижные, с выпачканными лицами. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик; его седые волосы над черным лицом производили жуткое впечатление. Двое других казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все были разуты — кто в носках, кто босиком.

Жондрет заметил, что Белый не спускает глаз с этих людей.

— Это друзья. Живут по соседству, — сказал он. — Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята — трубочисты. Не стоит обращать на них внимание, благодетель, лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам ее отдам недорого. Во сколько вы ее оцените?

— Но ведь это вывеска с кабачка, ей цена не больше трех франков, — проговорил г-н Белый, пристально, с настороженным видом, глядя в глаза Жондрета.

— При вас ли бумажник? — вкрадчивым голосом спросил Жондрет. — С меня довольно будет тысячи экю.

Белый встал во весь рост, прислонился к стене и пробежал глазами по комнате. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа, между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно заскулил, обводя всех блуждающим взглядом, так что Белому могло показаться, будто от нищеты у этого человека помутился рассудок.

— Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, — продолжал ныть Жондрет, — я пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только: ведь я мечтал обучить дочек картонажному искусству, оклеиванию коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще — для дерева, пожиже — для бумаги или материи, нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток — заколачивать скрепки, кисти и всякая чертовщина. И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть надо четырнадцать часов. Каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей. Проклятая работа! И за все — четыре су в день! Разве на это проживешь?

Причитая, Жондрет не глядел на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза Белого были устремлены на Жондрета, глаза Жондрета — на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Белый как будто спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»

Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу Белому и крикнул громовым голосом:

— Все это вздор, не в этом дело! Вы меня узнаете?

Глава двадцатая

ЗАПАДНЯ

Дверь внезапно распахнулась, и вошли трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную палку, окованную железом; другой, рослый детина, держал за топориче, обухом вниз, топор, какой употребляют для боя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно, украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.

Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с палкой тотчас завязался быстрый диалог.

— Все готово? — спросил Жондрет.

— Все, — отвечал тот.

— А где Монпарнас?

— Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.

— С которой?

— Со старшей.

— Фиакр стоит внизу?

— Стоит.

— А повозка запряжена?

— Да.

— А пару заложили хорошую?

— Отличную.

— Дожидаются, где я велел?

— Да.

— Ну хорошо, — сказал Жондрет.

Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривался вокруг, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь в каждого из окружающих его людей. Ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя за столом, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся добродушным стариком, вдруг превратился в богатыря, и движение, которым он опустил

свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.

Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины — нам не чужой. Мариус испытывал гордость за незнакомца.

Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «Это трубочисты», вытащили из кучи громадные ножницы для резки металла, тяжелый лом, молоток и, не проронив ни слова, молча встали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.

Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.

Жондрет, закончив разговор с человеком, вооруженным палкой, снова обратился к Белому и повторил свой вопрос, сопровождая его коротким, негромким, зловещим смешком.

— Итак, вы меня не узнаете?

— Нет, — ответил Белый, глядя ему прямо в глаза.

Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу Белого, который при этом движении не пошевелинулся, свои тяжелые хищные челюсти и, застыв в позе дикого зверя, готовящегося растерзать жертву, крикнул:

— Я не Фабанту, не Жондрет, я — Тенардьё! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардьё! Теперь вы узнаете меня?

Легкая краска залила лицо Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил негромким, недрогнувшим голосом:

— И теперь не узнаю.

Мариус не расслышал ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен, поражен. Он задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардьё», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, уже готовая дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардьё!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выпустили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим Белого, но потряс Мариуса. Имя Тенардьё, по-видимому, незнакомое Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспом-

ним, что оно для него означало. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного завета, гласившего: «Человек по имени Тенардье спас мне жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»

Имя это, как, вероятно, помнит читатель, было одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардье, тот самый монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление — какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью — как бы заплатить отцовский долг. И вот в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве при Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любит, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, — казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой — так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четы-

рех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились перед ним. Если он выстрелит, то спасет Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, ускользнет. Столкнута ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли властным воспоминаниям, важнейшим обязательствам перед самим собой, священному долгу, святым письменам? Изменить заветам отца или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что он слышит голос «своей Урсулы», умоляющей за отца, и голос полковника, препоручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а между тем сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.

Между тем Тенардье — впредь мы уже не будем называть его иначе, — в каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию.

Схватив всей пятсерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.

Затем он с угрожающим видом повернулся к Белому и зарычал:

— Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!

И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:

— Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий миллионщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой дочку Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас был желтый редингот? Скажете — нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только послушай, жена! Видно, такая уж у него блажь — таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Не чулочная ли у вас торговля, господин миллионщик? Вы раздаете, стало быть, товары из своей лавки беднякам, святоша?! Шут гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю вас! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда это проходит даром — забираться в

приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким платьем и нищенским видом, с каким гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вам не удастся, разорив людей, отделаться от них рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!

Он на минуту остановился и что-то забормотал про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг исчезающее в расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

— Да при этом еще корчить праведника!

И снова обратился к Белому:

— Когда-то вы надо мной насмеялись, пропади вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, которая жила у меня, а она была, наверное, из богатой семьи. Я уже успел нажать на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну да не об том речь. Признайтесь: я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка? В лесу у вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, как погляжу на него! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадемуазель Марс, — подумайте только, с самой мадемуазель Шептуньей! — будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я думаю: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»

Тенардые умолк. Он задышался. Его щуплая узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого, подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило, — счастье, с каким карлик попирает бы голову Голиафа, сча-

стве, с каким шакал терзал бы больного полумертвого быка, уже не способного защищаться, но еще способного страдать.

Белый не прерывал Тенардые. Когда же тот умолк, он сказал:

— Я вас не понимаю. Вы ошибаетесь. Я человек бедный. Какой я миллионер? Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого.

— Ага! — захрипел Тенардые. — Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?

— Извините, сударь, — ответил Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычайно внушительно, — я вижу, что вы бандит.

Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы? Чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардые соскочила с постели, а он схватил стул, словно намереваясь изломать его в щепки.

— Эй ты, не суйся! — крикнул он жене и, повернувшись к Белому, разразился громкой тирадой:

— Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас называете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша — значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! Зато у вас у всех ноги в тепле, на вас сапожки от Сакосского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, едите трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат — сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». А вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Знайте, господин мильонщик: я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы — еще неизвестно, кто вы такой!

Тут Тенардые подошел к людям, стоявшим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:

— Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним сапожник!

Обернувшись к Белому, он с еще большим бешенством продолжал:

— Запомните, господин филантроп, что я не подозрительная личность, не безродный. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался под Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него был чертовски слаб, и я не расслышал. Я разобрал только мерси. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить мой ратный подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысячи чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте покончим. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите — погибли, провались я на этом месте!

Мариус справился со своим волнением, он слышал слова Тенардье. Последние сомнения рассеялись. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услыхав упрек в неблагодарности, брошенный его отцу, — ведь он роковым образом едва не заслужил этот упрек. Его тревога росла. Но в речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, во вспышках его разнуздавшейся подлой натуры, в смеси бахвальства и униженности, гордости и низости, злобы и тупости, в хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в бесстыдной наготе уродливой души, во взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, — во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.

Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардье предлагал Белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, намалеванной, — единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.

Тенардье теперь уже не загораживал Мариусу поле зрения, и Мариус мог рассмотреть картину. Эта пачкотня дейст-

вительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Это были Тенардье и Понмерси, спаситель-сержант и спасаемый полковник. Мариус смотрел, будто опьяненный: картина оживляла перед ним отца; он видел не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и встающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на мрачном холсте, пугал его; ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.

Между тем Тенардье, отдышавшись и уставив на Белого налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:

— Желаете что-нибудь сказать перед последним угощением?

Белый молчал. В наступившей тишине кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора полную зловещего смысла остроту:

— Кому наколоть дрова? Я готов!

То была шутка человека с топором.

И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалось широкое, обросшее щетиной, ослабленное лицо землистого цвета.

Это был человек с топором.

— Ты зачем скинул маску? — в бешенстве заорал на него Тенардье.

— Чтобы посмеяться, — ответил тот.

Уже несколько минут Белый внимательно следил за каждым движением Тенардье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, в полной уверенности, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к Белому.

Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком — стол и, прежде чем Тенардье успел повернуться, с изумительным проворством, одним прыжком очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было для него делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, но шесть крепких ручищ схватили его и рывком втащили в логово. Это сделали три ринувшиеся на него «трубочиста». Тетка Тенардье тут же вцепилась ему в волосы.

На шум из коридора сбежались другие бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки,

вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним.

Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу.

Этого Мариус уже не мог выдержать. «Прости меня, отец!» — мысленно прошептал он и нащупал пальцем курок. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье:

— Не троньте его!

Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардье скорее успокаивающе, нежели раздражающе. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой над поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.

— Не троньте его! — повторил он. Сам того не подозревая, он оказался в выигрыше, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, — обстановка изменилась, и Мариус решил, что можно повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать погибнуть «отцу Урсулы» или погубить человека, спасшего полковника?

Между тем завязалась жестокая схватка. Ударом кулака в грудь Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели словно под жерновами. Но четверо схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули к повергнутым «трубочистам». Одолев одних и одолаваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснящих его врагов, Белый исчез под омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой ищеек и догов.

Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они и оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье не выпускала из рук его волос.

— Тебе нечего в это путаться! — прикрикнул на нее Тенардье. — Еще шаль порвешь.

Она повиновалась с рычанием, как волчица волку.

— Обыскать его, ребята! — приказал Тенардье.

Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось.

Тенардье положил платок к себе в карман.

— Неужели нет бумажки? — спросил он.

— Ни бумажки, ни часов, — ответил кто-то из «трубочистов».

— Неважно, — пробормотал голосом чревоуещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. — Что и говорить, неподатливый старик!

Тенардье подошел к дверям, взял связку веревок, лежавшую в углу, и бросил бандитам.

— Привяжите его к изножию кровати, — приказал он и, заметив неподвижно лежавшего посреди комнаты старика, сбитого ударом Белого, спросил: — Что, Башка помер?

— Нет, пьян, — ответил Гнус.

— Оттащите его в угол, — распорядился Тенардье.

Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.

— Зачем ты привел столько народу, Бабет? — тихо спросил Тенардье человека с палкой. — Этого не требовалось.

— Не отвяжешься от них, — ответил тот. — Все захотели участвовать. Времена плохие. Нет никаких дел.

Кровать, на которую бросили Белого, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его и крепко привязали к той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.

Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической, подозрительной метаморфозой, испытывая чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам.

— Сударь... — начал было Тенардье, но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускавшим Белого, знак удалиться.

— Отойдите. Дайте мне поговорить с господином, — сказал он.

Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:

— Сударь! Зря вы вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги сломать. А теперь, если вы ничего не имеете против, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время Белый произнес несколько слов, не повышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил полное, поразительное молчание. Тенардье продолжал.

— Да разве бы я нашел неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадешь в общество людей, не внушающих особого доверия. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещенье. Итак, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный: кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и с юстицией. Значит, вы, как я уже давно заподозрил, кое-что скрываете. Мы тоже скрываем — стало быть, можно договориться.

Тенардье не сводил глаз с Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна; этого негодяя, за минуту до того представлявшего собой обыкновенного разбойника, теперь можно было принять за человека, который «готовился в священники».

Молчание пленника, его необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, упорство, с каким он подавлял в себе первое движение души — в минуту опасности позвать на помощь, все это было неприятно Мариусу и вызывало у него мучительное чувство недоумения.

Вполне обоснованные замечания Тенардье сгустили таинственный мрак, окутывавший строгую необычную фигуру человека, которого Курфейрак прозвал г-ном Белым. Связанный веревками, окруженный палачами, находясь наполовину в могиле и с каждым мгновением все глубже туда опускаясь, испытываемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардье, человек этот оставался невозмутимым, и Мариус не мог не любоваться его лицом, хранившим выражение гордой печали.

То была душа, не доступная страху, не знающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.

Тенардье непринужденно поднялся с места, подошел к камину и, отодвинув ширмы, прислонил их к стоящей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.

Затем Тенардье снова подсел к Белому.

— Итак, пойдем дальше, — сказал он. — Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы миллионщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте: я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков.

Белый не проронил ни слова. Тенардье продолжал:

— Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестны размеры вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благодетелю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков — вот моя цена. Это сущий пустяк. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас пальцем не тронет. Вы можете возра-

зять: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков!» О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого не требуется. Я прошу вас только об одном: не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.

Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:

— Предупреждаю: никаких отговорок насчет неграмотности я и слушать не хочу.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.

Тенардье придвинул стол вплотную к Белому и вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.

Лист он положил перед Белым.

— Пишите, — сказал он.

Тут, наконец, заговорил пленник:

— Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.

— Совершенно верно, вы правы. Извините! — произнес Тенардье.

Обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал:

— Развяжи господину правую руку.

Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и протянул Белому.

— Советую хорошенько запомнить, сударь, — сказал он, — что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила не вырвет вас отсюда и что мы будем огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.

— Что же я должен писать? — спросил пленник.

— Я продиктую.

Белый взял перо.

Тенардье стал диктовать:

— «Дочь моя...»

Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье.

— Напишите: «Дорогая дочь моя», — продолжал Тенардье. Белый повиновался.

— «...приезжай немедленно...»

Он приостановился:

— Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

— Кому? — спросил Белый.

— Ну девчонке, Жаворонку, черт побери!

— Я не понимаю, что вы хотите сказать... — ответил Белый без малейших признаков волнения.

— Пишите, пишите, — оборвал его Тенардье и опять принялся диктовать:

— «Приезжай немедленно. Ты мне очень нужна. Особе, которая передаст тебе эту записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».

Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился:

— Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.

Белый зачеркнул эти три слова.

— А теперь, — продолжал Тенардье, — подпишитесь. Как вас зовут?

Пленник положил перо и спросил:

— Кому предназначается это письмо?

— Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Я же вам сказал.

Тенардье явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил: «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя значило бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.

— Подпишитесь. Как вас зовут? — повторил он.

— Урбен Фабр, — сказал пленник.

Тенардье кошачьим движением запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.

— У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».

Пленник поставил подпись.

— Одной рукой письма не сложить, — сказал Тенардье. — Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадемуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал: «Мадемуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д'Анфер, № 17».

Тенардье с лихорадочной поспешностью схватил письмо.
— Жена! — позвал он.

Жена подбежала.

— Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Поезжай и живо назад.

Обратившись к человеку с топором, он распорядился:

— А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Ты хорошо помнишь, где поставил повозку?

— Помню, — ответил тот.

Поставив топор в угол, он последовал за теткой Тенардье.

Не успели они выйти, как Тенардье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:

— Главное, не потеряй письмо! Не забудь, что везешь двести тысяч франков.

— Не беспокойся. Оно у меня за пазухой, — отвечал сильный голос супруги.

Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута: оно становилось все тише и вскоре совсем замерло.

— Отлично, — пробормотал Тенардье. — Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.

Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы грязных сапог.

— Ноги у меня совсем заоченели, — сказал он.

Теперь, кроме Тенардье и пленника, в трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут назад логово Тенардье.

Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.

Слышалось только мирное посапывание спавшего в углу пьяного старика.

Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардье называл еще «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил просто: «Я не

понимаю, что вы хотите сказать». Нашли объяснение буквы «У» и «Ф»: они означали «Урбен Фабр», и Урсула перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее обстоятельство особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял почти не способный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах справиться с мыслями и принять решение.

«Во всяком случае, — думал он, — если Жаворонок — это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардье должна привезти ее сюда. А тогда, если понадобится, я не пощажу ни своей жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не останавлиюсь».

Так прошло около получаса. Тенардье, казалось, был поглощен мрачными мыслями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий, приглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.

— Господин Фабр! — вдруг обратился к пленнику Тенардье. — Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.

Эта короткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.

— Потерпите немного, — продолжал Тенардье. — Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок — на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал:

— Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.

Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардьё снова заговорил:

— Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.

Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он уже не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестало биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не мешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардьё, и ему приоткрылся их кровавый смысл: *«Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка»*.

Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.

Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.

Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.

Связанный пленник пошевелился.

— А вот и хозяйка, — сказал Тенардьё.

Не успел он договорить, как в комнату ворвалась тетка Тенардьё, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом, и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:

— Фальшивый адрес!

Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор.

— Фальшивый адрес? — переспросил Тенардьё.

— Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает!

Тетка Тенардьё остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:

— Эх ты, господин Тенардьё! Ведь старик-то тебя окол-

пачил! Ты слишком добр! На твоём месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться — живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись до меня, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать — никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, — та, имя которой он теперь не сумел бы уже назвать, — была спасена.

Между тем как жена продолжала исступленно вопить, Тенардьё уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.

Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:

— Фальшивый адрес? На что же ты, собственно говоря, надеялся?

— Выиграть время! — крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник был привязан к кровати только за одну ногу.

Прежде чем кто-либо из семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился; Тенардьё, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.

Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в доме Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два су, особым способом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, — одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, как метафоры воровского аргю в поэзии. На каторге существуют свои Бенvenuto Челлини, совершенно так же, как в языке — Вийоны.

Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью ножичка или старого долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезки, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета заворачивается и разворачивается; это — коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним су. Нет, он обладает свободой. Вот такую монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при обыске в логове Тенардье. Была обнаружена и стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки. Этим объясняется легкий шум и едва уловимые движения, которые заметил Мариус.

Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.

Между тем бандиты опомнились от испуга.

— Не беспокойся, — обращаясь к Тенардье, сказал Гнус, — одна нога у него привязана, и ему не уйти. Могу ручаться. Эту лапу я сам ему затянул.

Но тут возвысился голос пленник:

— Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать, то чего я не хочу говорить и чего не хочу писать, то...

Он засучил рукав на левой руке и прибавил:

— Вот, смотрите!

С этими словами он вытянул правую руку и приложил к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.

Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице этого удивительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.

У сильных, благородных натур, когда они становятся

жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.

— Несчастные! — сказал он. — Я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь.

Резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, оставшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.

— Делайте со мной, что угодно, — продолжал пленник.

Теперь он был безоружен.

— Держите его! — крикнул Тенардье.

Два бандита схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении разmozжить ему череп ключом.

В ту же минуту внизу за перегородкой, в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он слышал тихие голоса:

— Остается одно.

— Укокошить?

— Вот именно.

Это совещались супруги Тенардье.

Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож.

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла борьба голосов, причиняя ему смертельную муку. Он все лелеял надежду, что найдет средство примирить два долга, но так и не нашел. Между тем опасность приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардье, с ножом в руках, о чем-то думал, стоя в нескольких шагах от пленника.

Мариус растерянно водил глазами, — к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.

Внезапно он вздрогнул.

Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую еще нынче утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардье:

ЛЕГАВЫЕ ПРИШЛИ.

Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи,

как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардье.

И как раз вовремя. Тенардье, поборов последние страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.

— Что-то упало! — крикнула тетка Тенардье.

— Что такое? — спросил Тенардье.

Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она протянула его мужу.

— Как он сюда попал? — удивился Тенардье.

— А как еще, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, — объяснила жена.

— Я видел, как он влетел, — заявил Гнус.

Тенардье поспешно развернул листок и поднес его к свече.

— Почерк Эпонины. Проклятие!

Он сделал знак жене и, когда та подскочила, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом отдал распоряжение:

— Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!

— Не свернув ему шею? — спросила тетка Тенардье.

— Теперь некогда этим заниматься.

— А как будем уходить? — задал вопрос Гнус.

— Через окно, — ответил Тенардье. — Раз Понина бросила камень в окно — значит, дом с этой стороны не оцеплен.

Человек в маске, говоривший голосом чревоушателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.

Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.

Как только лестница была приложена, Тенардье крикнул:

— Хозяйка, идем!

И бросился к окошку.

Но едва он занес ногу, как Гнус схватил его за шиворот.

— Нет, шалишь, старый плут! После нас!

— После нас! — зарычали бандиты.

— Перестаньте дурачиться! — принялся увещевать их Тенардье. — Мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.

— Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать,— предложил один из бандитов.

— Да что вы рехнулись? Спятили? — завопил Тенардье.— Видали олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку?

— Не пригодится ли вам моя шляпа? — крикнул с порога чей-то голос.

Все обернулись. Это был Жавер.

Он улыбаясь, протягивал свою шляпу бандитам.

Глава двадцать первая

ВСЕГДА НАДО НАЧИНАТЬ С АРЕСТА ПОСТРАДАВШИХ

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на заставе Гобеленов, против дома Горбо, по ту сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» только Азельму. Эпонины на месте не оказалось, она исчезла и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение; он узнал кое-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.

Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.

Жавер подоспел как раз вовремя.

Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с палкой, остальные — кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардье — сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.

Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.

— Стой, ни с места! — крикнул он.— Через окно не ла-

зять. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.

Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардье, шепнув ему на ухо:

— Это — Жавер. Ты как хочешь, а я в него стрелять не могу.

— Плевать я на него хотел, — ответил Тенардье.

— Ну что ж, стреляй.

Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардье, пристально взглянул на него и сказал:

— Не стреляй. Все равно даст осечку.

Тенардье спустил курок. Пистолет дал осечку.

— Я ведь тебе говорил, — заметил Жавер.

Гнус бросил к ногам Жавера палку.

— Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.

— А вы? — обратился Жавер к остальным бандитам.

— Мы тоже, — последовал ответ.

— Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил: надо по-хорошему, — спокойно добавил Жавер.

— Я прошу одного, — снова заговорил Гнус, — пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.

— Хорошо, — ответил Жавер.

Тут он обернулся и крикнул в дверь:

— Войдите!

Постовые, с саблями наголо, и полицейские, вооруженные кастетами и короткими дубинками, ввалились в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардье, освещенном только свечой, стало совсем темно.

— Всем наручники! — распорядился Жавер.

— А ну, подойдите! — раздался вдруг чей-то, не мужской, но и не женский голос.

Это рычала тетка Тенардье, загородившаяся в углу у окна. Полицейские и постовые отступили.

Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.

— Берегитесь! — крикнула она.

Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела.

Тетка Тенардье взглянула на бандитов, давших себя связать, и хриплым, гортанным голосом пробормотала:

— У-у, трусы!

Жавер усмехнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардье.

— Не подходи! Не то расшибу! — завопила она.

— Экий гренадер! — сказал Жавер. — Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины.

И он продолжал идти вперед.

Растрепанная, страшная тетка Тенардье расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер пригнулся. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое, помещение и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.

В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардье. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая на голову супруга.

— Наручники! — крикнул он.

Полицейские гурьбой бросились к нему, и приказание Жавера было исполнено.

Это сломило тетку Тенардье. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:

— Дочки, мои дочки!

— Они за решеткой, — объявил Жавер.

Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.

— Уже успели управиться, Жондрет? — пробормотал он спросонья.

— Да, — ответил Жавер.

Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения; трое сохраняли свою черную размазку, трое других — маски.

— Масок не снимать, — распорядился Жавер.

Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:

— Здорово, Гнус! Здорово, Башка! Здорово, Два Миллиарда!

Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:

— Здорово, Живоглот!

Человека с палкой:

— Здорово, Бабет.

А чревовещателя:

— Здравия желаю, Звенигрош!

Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опустив голову.

— Отвяжите господина, и не уходить! — приказал он.

Потом он с важным видом сел за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.

Написав первые строчки, состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.

— Подведите господина, который был связан этими господами.

Полицейские огляделись.

— В чем дело? Где же он? — спросил Жавер.

Но пленник бандитов, — г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка, — исчез.

Дверь охранялась, а про окно забыли. Почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.

Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.

Веревочная лестница еще покачивалась.

— Экая чертовщина! — процедил сквозь зубы Жавер. — Видно, этот был почище всех.

Глава двадцать вторая

МАЛЫШ, ПЛАКАВШИЙ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ НАШЕЙ КНИГИ

На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик шел по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел, распевая во все горло.

На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха

при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил.

— Вот тебе раз! — крикнул он. — А я-то думал, что это большущая-пребольшущая собака!

Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно точно можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬЩУЩАЯ собака!

Взбешенная старуха выпрямилась,

— У, висельник! — заворчала она. — Мне бы прежнюю силу, я бы такого пинка тебе дала!

Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.

— Куси, куси! — поддразнил он. — Ну если так, то я, пожалуй не ошибся.

Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускающихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, видна была только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:

— Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.

И пошел дальше, распевая:

Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок...

Пропев эти три стиха, он замолк. Он подошел к дому № 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары свидетельствовали не столько о силе его детских ног, сколько о тяжести мужских сапог, в которые он был обут.

Следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, бежала та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.

— Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! — орала она.

Удары не прекращались.

— Да разве нынешние постройки на это рассчитаны? — надрывалась старуха и вдруг неожиданно смолкла. Она узнала гамена.

— Да ведь это же наш дьяволенок!

— А! Да ведь это же наша бабка! — сказал мальчик. —
Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.

Старуха скорчила гримасу, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты, но отразившую разнородные чувства: то была великолепная импровизация злобы при поддержке уродства и дряхлости.

— Никого нет, бесстыжая твоя рожа, — сказала старуха.

— Вот тебе раз! — воскликнул мальчик. — А где же отец?

— В тюрьме Форс.

— Смотри-ка! А мать?

— В Сен-Лазаре.

— Так, так! А сестры?

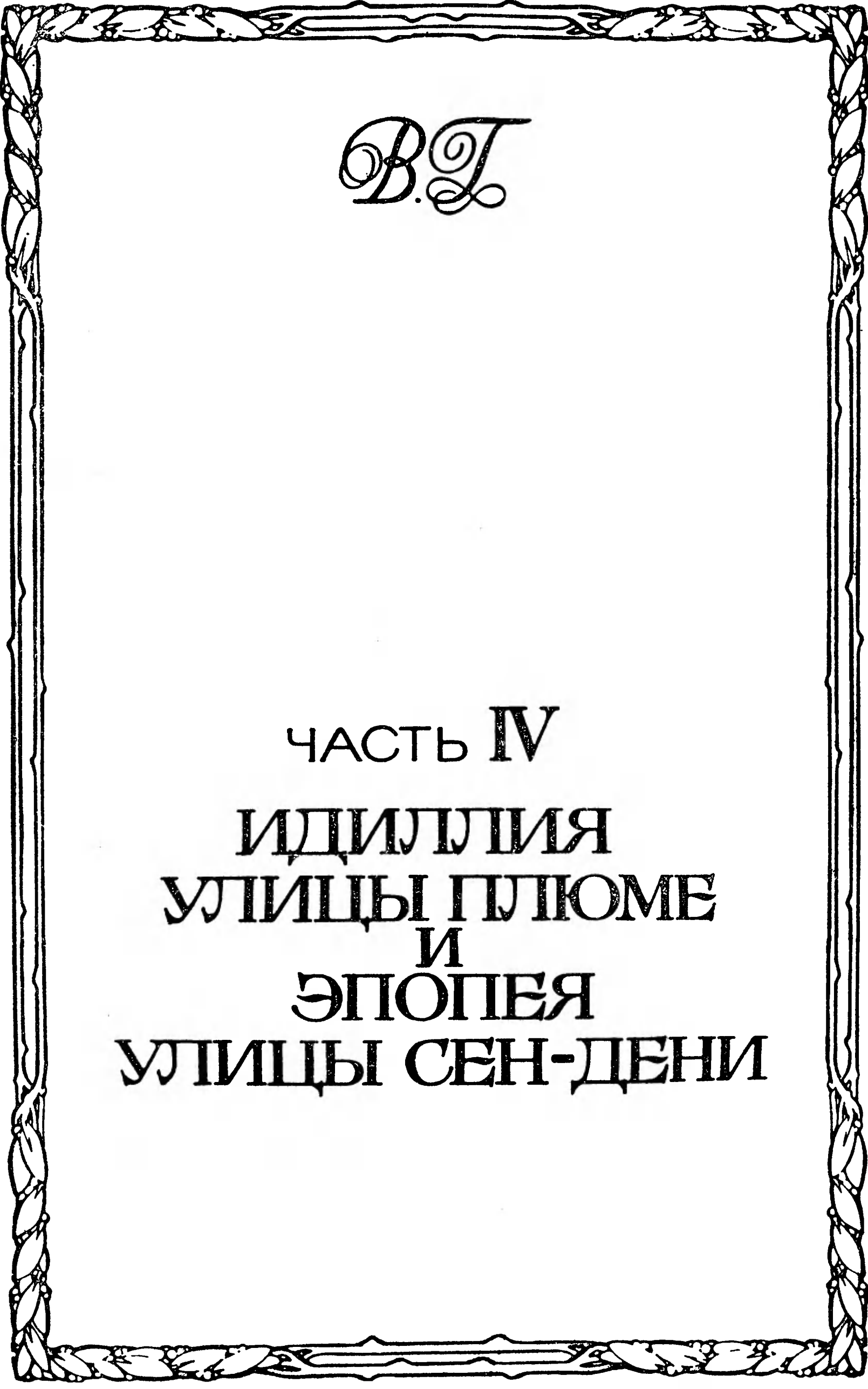
— В Мадлонет.

Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:

— Э-эх!

Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге, услышала, как он запел чистым детским голосом, уходя куда-то все дальше под черные вязы, дрожавшие на зимнем ветру:

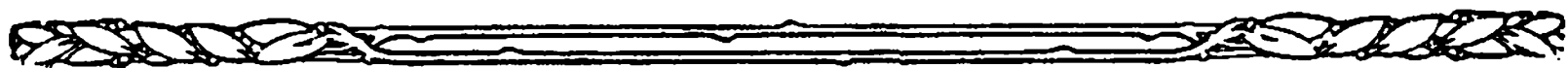
Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок,
Взобравшись на ходули.
Кто проходил внизу,
Платил ему два су.



B.L

ЧАСТЬ IV
ИДИЛЛІЯ
УЛИЦЫ ГЛЮМЕ
И
ЭПОПЕЯ
УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ

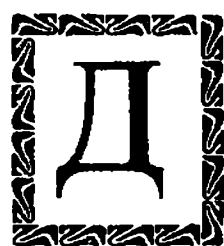




НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИСТОРИИ

Глава первая

ХОРОШО СКРОЕНО



Два года, 1831 и 1832, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собой одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет — как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то проглядывают, то скрываются за грозowymi облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо — усталость, смутный гул, сон, смятение, иначе говоря, она была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного — мира; у всех одно притяза-

ние — умалиться. Это означает жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди, — нет, покорно благодарим, навидались мы их, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй — с Робеспьером, третий — с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются — чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты — это квартирмейстеры и фурьеры, готовящие квартиры для принципов.

И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.

Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов — то же, что покой для людей.

Это то чего Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, чего Франция требовала от Бурбонов после Империи.

Эти гарантии — требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же они обязаны своим возникновением силе обстоятельств. Истина глубокая и знать ее небесполезно, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что пришло в голову Бурбонам в 1814.

Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, и что политические права, пожалованные Людовиком XVIII, — всего лишь ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому, с каким неудовольствием Бурбоны преподносили этот дар, они должны были почувствовать, что исходит он не от них.

Они были утрюмы в XIX веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «избрюзжались» — воспользуемся этим обиходным выражением, выражением народным и точным. Народ это видел.

Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась так же. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали Наполеона.

Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо семьи, а историю народа. Они тянулись всюду, но только не под троном.

Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать, — полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII — в день битвы при Маренго? Никогда, с первых дней истории, государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще притязания брэнного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.

Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.

Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар. Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации — верховное главенство, у гражданина — свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, а у гражданина то, что делало его гражданином.

В этом суть тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.

Реставрация пала.

Этого требовала справедливость. Тем не менее нельзя не признать, что она не была до конца враждебна всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.

При реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, а величие — с миром, чего не было при Империи. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и при Карле X слово взяла мысль. Ветер утих, свечеч зажгся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, старые для мыслителя, новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения.

Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон важно, но не величественно; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не с королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл X по пути в Шербур распорядился сделать из круглого стола четырехугольный; казалось, его больше тревожила угроза этикету, чем крушение монархии. Такая мелочность его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько сил, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамках закона, Бурбонов — в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла X из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома с грустью и осторожностью. Не один и не несколько человек, а Франция, вся

Франция, победоносная и упоенная своей победой, казалось, вспомнила и перед всем миром провела в жизнь замечательные слова Гильема дю Вера, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка, с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким по отношению к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особенно скорбящих».

Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.

Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновата в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Даже те, что были сильнее других напуганы, те, что были особенно недовольны, особенно раздражены, приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие Кого-то, действующего в области более высокой, чем дано действовать человеку.

Июльская революция — торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.

Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.

Право — это все, что истинно и справедливо.

Неотемлемая черта права — пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, как будто неизбежный, наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало или вовсе никакого права, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том,

насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли — это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего XVI столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи XIX века.

Это борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права — вот дело мудрых.

Глава вторая

ДУРНО СШИТО

Но работа людей мудрых — это одно, а работа людей ловких — другое.

Революция 1830 года быстро закончилась.

Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.

Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти арготическим выражением. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» — все равно что сказать «человек заурядный».

Точно так же сказать «государственный муж» — иногда значит то же, что сказать «изменник».

Итак, если верить ловким, то революции, подобные Июльской, — не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, коль скоро право утверждено, следует укрепить государство. Коль скоро свобода обеспечена, следует подумать о власти.

Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть — пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во вторых, — откуда она?

Ловкие как будто не слышат произнесенных шепотом возражений и продолжают свое дело.

По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая по-

требность народа после революции, — если этот народ составляет часть монархической Европы, — это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса, заслоняет госпиталь.

Однако не всегда легко добыть себе династию.

В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом — Итурбиде.

Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.

Если встать на точку зрения «государственных мужей», со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может — и это даже полезно — быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом, или прославился, брался ли за ее топор, или действовал с помощью шпаги.

Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной — не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа.

Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека — Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя — династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.

Королевские дома похожи на фиговые деревья в Индии, каждая ветвь которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что склонится к народу.

Такова теория ловких.

Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во

фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.

1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.

1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.

Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия. Почему?

Потому что буржуазия — это удовлетворенное вождение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.

То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.

Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа — это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло — это вовсе не каста.

Но, желая усесться слишком рано, можно остановить движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.

Однако допустить ошибку не значит стать классом. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.

В конце концов, — следует быть справедливым даже к эгоизму, — состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытие, доступное сну; это был привал.

Привал — слово, имеющее двойной, особый и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.

Привал — это восстановление сил, это покой, настороженный или бодрствующий; это свершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.

Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.

То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.

Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие — привал. Человек, который мог бы называться Хотя-Ибо. Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.

Этот человек оказался под рукой. Звали его Луи-Филипп Орлеанский.

Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.

Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».

Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершено вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я протестую!» Затем — грозное знамение! — оно снова скрылось в тени.

Глава третья

ЛУИ-ФИЛИПП

У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несовременной. Затмение революций никогда не бывает отречением.

Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.

Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.

Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец — порицания, он обладал всеми достоинства-

ми частного лица и некоторыми достоинствами общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах, знал цену минуты и не всегда цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь, был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, — хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще реже, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим» он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на словах в тесном кругу близких; по общему мнению — скряга, но не уличенный; в сущности это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но не разбиравшийся в литературе; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывавший только сегодняшний день, не способный ни на злопамятство, ни на благодарность, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на тайные объединения, которые глухо рокошуют где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок, он пугал Францию Европой, а Европу Францией; бесспорно любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету, а авторитет достоинству — склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был чело-

век мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проникательный, неутомимый, иногда противоречивший самому себе и бравший свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами неустрашимости, генерал — при Вальми, солдат — при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он всегда улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда — свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен наблюдательностью, но не прозорливостью; мало интересовался духами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проникательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; всегда черпал из запаса этой памяти, — единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ — одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами; он выходил из затруднений с помощью хитрости; слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации дух формализма и крючкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом, личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой обладал чувством полезного.

Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему не доставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом: то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года; Луи - Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и Венгрию, однако писал: *polonois* и произносил: *hongrais*¹. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.

Он редко бывал у обедни, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь фореитору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без ланцета, как Генрих III без кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем, — первым королем, пролившим кровь в целях излечения.

Что касается претензий истории к Луи-Филиппу, то кое-что следует отнести не к нему; одни обвинения касаются монархии, другие — царствования, а третьи — короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремястами тысяч привилегированных — за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир, и, как Индия англичанами, — скорее варварами, чем носителями цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадеру, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард — за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная, — за это отвечает король.

¹ В новом правописании: *polonais* (поляки) и *hongrois* (венгры).

Как видите, за вычетом этого, можно уменьшить вину короля.

Его важнейшая ошибка такова: но был скромн во имя Франции.

Где корни этой ошибки?

Сейчас поясним.

В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя нерешительность, навязываемая народу, у которого в его гражданских традициях было 14 июля, а в традициях военных — Аустерлиц.

Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила сей род среди художников так же, как Карл Орлеанский — среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д'Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Таких молодых людей не встретишь, таких принцев не бывает».

Вот без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе.

Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, — такова причина удаи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не было столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, воплощение свершилось. Луи-Филипп — это 1830 год, ставший человеком, вдобавок за него говорило и великое предназначение к престолу — изгнание. Он был осужден, беден, он скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы не умереть с голоду. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобин-

цев; Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93 году, он, тогда еще герцог Шартрский, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения: слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого неистовства идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы — как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый — Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед безграничным правосудием народа, почти столь же безразличным, как правосудие бога.

След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком каждой минуты этих великих годин. Однажды перед свидетелем, которому нельзя не доверять, он исправил по памяти список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».

Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он знал, что яркий свет подтачивает привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.

Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.

Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий, прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; во всяком слу-

чае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.

Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, — чем он занимался? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что дать отпор Европе — это очень важно, но еще важнее — вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак — Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узко корыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». В другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться

его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.

А для нас, знающих, что в истории доброта — редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли стоит выше того, кто велик.

Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».

Глава четвертая

ТРЕЩИНЫ ПОД ОСНОВАНИЕМ

Поскольку драма, о которой мы повествуем в этой книге, вот-вот взорвет толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, мы решили, избегнув недомолвок, охарактеризовать личность короля.

Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, лично не участвовал. Он родился принцем и считал себя избранным королем. Он не сам дал себе эти полномочия, он не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение соответствовало его праву, а согласие принять — его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы говорим это, положив руку на сердце: Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительно, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе,

но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, порицать борющихся не следует: одна из двух сторон явно заблуждается; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах — одной ногой опираясь на республику, другою — на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренне; слепой — не преступник, вандеец — не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не отвечают.

Закончим наше изложение событий.

Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться.

Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, недавно созданную и непрочную.

Соппротивление возникло на следующий же день; быть может даже, родилось накануне.

С каждым месяцем возмущение росло и из тайного стало явным.

Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована по-разному.

Бог открывает людям свою волю в событиях — это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы — переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, проницательные расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана — на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения — фракция; каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина — лишь ее достояние.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, — это старые партии.

По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божьей милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение! Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным свершением, заключает в

самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и даже обогрелая кровью, она выживает. Революция — не случайность, а необходимость. Революция — это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения — отличные метательные снаряды. Они умело поражали революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, — за недостатком логики; они нападали на революцию в ее королевском облике. Они ей кричали: «Революция! А зачем же у тебя король?» Старые партии — это слепцы, которые хорошо целются.

Республиканцы кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранить мир — значило еще больше усложнить положение. Германия, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир — разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повод. Подгоняемая во Франции прогрессом, она в свою очередь подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда — все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению соответствовало брожение философское.

Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в той же степени.

Мыслители размышляли, в то время, как почва — то есть народ, — изрытая революционными течениями, дрожала по ним, словно в неярко выраженном эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые — в одиночестве, другие — объединившись в дружные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.

Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросами человеческого счастья.

Человеческое благополучие — вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли почти на высоту религии. В цивилизации, такой, какою она создается, — отчасти Богом и, гораздо больше, людьми, — интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, по закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием — социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы из нее забил живой родник человеческого счастья.

Их труды охватили все, от смертной казни до вопроса о войне. К правам человека, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не исчерпываем здесь, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема: создать материальные богатства.

Вторая проблема: распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая — вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй — о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является мощь общества.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства — справедливость.

Из соединения этих двух начал — мощи общества вовне и личного благоденствия внутри — рождается социальное процветание.

Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое одностороннее решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага — одним, все лишения — другим, то есть народу, причем привилегии, льготы, монополии, власть феодалов являются порождением самого труда. Положение ложное и опасное, ибо могущество общества зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства — на страданиях отдельной личности. Это — дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильности решениях. Уничтожить богатство — не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или как Англия, — материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам возможность погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет возможность падать и погибать

всякому себялюбию, всему, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что под Венецией, Англией мы подразумеваем не народ, а определенный общественный строй — олигархии, стоящие над нациями, а не самые нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ — бессмертна. Отметив это, пойдем дальше.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно работе, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая работу рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот что он искал в фактах, вот что он готовил в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного деятеля необходимость считаться с философами, только еще намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком резко противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравнивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное неосознанной покорностью высшему, неоспоримому праву, личная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу — все это поглощало Луи-Филиппа почти мучительно и

порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

У него было твердое убеждение, что почва под ним колыхается, однако она еще была твердой, так как Франция оставалась Францией более, чем когда-либо.

Темные, сгрудившиеся тучи обледали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями, — тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание — столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В атмосфере тревоги, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся грозой. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому дотоле неведомый, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты облака.

Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном обличье явил себя 1832 год. Народ в нищете, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных — Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь закладывающего в гроб Польшу, устремленные на Францию враждебные взгляды всей Европы, Англия — эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что накренилось, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской Богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства — одна в городе мысли, другая в городе труда; в Париже война гражданская, в Лионе — война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в иступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская

в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера — все это прибавляло к слитному гулу идей сумятицу событий.

Глава пятая

ФАКТЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ИСТОРИЮ, НО ЕЮ НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ

К концу апреля все усложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, — признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными — как ни странно применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Там просто и открыто выражали недоверие правительству. Обсуждалось во все услышание: *драться* или *сохранять спокойствие*. Кое-где в комнатах за кабачком с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: *Ты дал согласие! Ты поклялся!* Иногда поднимались на второй этаж, и там, в запертой комнате, происходили сцены, напоминавшие массонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они *поносили правительство*, как сообщает донесение того времени.

Там слышались такие слова: *Мне известны имена вождей. Мы узнаем о назначенном дне только за два часа. Один рабочий сказал: Нас триста человек, дадим каждый по десять су — вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули. Другой сказал: Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не пройдет и двух недель, как мы сравнимся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно вступить в бой. Третий заявил: Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появляются люди «хорошо одетые, по виду буржуа», «сеяли смуту» и, дер-*

жась «распорядителями», пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: *Заговор созрел. Все готово.* «Об этом твердили все, кто был там», — как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке кто-то из рабочих крикнул: *У нас нет оружия!* Его приятель, неумышленно пародируя обращение Бонапарта к итальянской армии, ответил: *Оружие есть у солдат!* «Когда дело касается какой-нибудь более важной тайны, — прибавляет один из рапортов, — то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что они еще могли скрывать после того, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали регулярный характер. На иных никогда не было больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходили все, кто хотел, и зал был так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены энтузиазмом, другие — потому что это им было *по пути на работу*. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты.

Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: *Должок мой, дядюшка, уплатит революция.*

У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там был набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговицы с рапир сняли. Один рабочий сказал: *Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей.* Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: *Уже давно всю делают патроны.* На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: *Барто, виноторговец.*

Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей настойками, какой-то бородач, взобравшись на тумбу, громко читал с итальянским акцентом необычное рукописное послание, казалось исходявшее от некой таинственной власти.

Вокруг него собрались слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были записаны: «Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы...». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «...Будущее народа создается в наших неизвестных рядах». «Выбор возможен один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. В наше время больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует». «В этот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно своей дерзостью. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы св. Маргариты, вскричал: *Я бабувист!* Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Этот человек говорил:

— Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы — мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

— Молчать, гражданин шпик! — кричал ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», и тот его спросил: «Куда идешь, гражданин?» «Я не имею чести вас знать, сударь», — ответил рабочий. «Зато я тебя хорошо знаю, — сказал тот и прибавил: — Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай: если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобой следят. — Он пожал рабочему руку и, сказав: — Мы скоро увидимся», — ушел.

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабаках, но уже и на улицах странные диалоги.

— Постарайся получить поскорей, — говорил ткач краснотеревцу.

— Почему?

— Да придется пострелять.

Двое оборванцев обменялись следующими примечательными словами, отдававшими жакерией:

— Кто нами правит?

— Господин Филипп.

— Нет, буржуазия.

Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Жаки — это бедняки. Право на стороне тех, кто голоден.

Слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву на круглой площади возле Тронной заставы, удалось расслышать: «Будет сделано все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

Вожаки, как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее вожаки всегда были в тени и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

— Кто ваш руководитель? — спросили его.

— Я не знал, да и не разузнавал, кто он.

Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строившегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было разобрать такие строки:

«Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ...»

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5(б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более, что немного дальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа:

К	Ц	Д	Р	Выучите этот листок наизусть. Потом разорвите. Посвященные пусть сделают также, после того как вы передадите им приказания. Привет и братство. Л. ю ог а¹ фе

Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв — это были *квинтурионы, центурионы и декурионы, разведчики*, а буквы ю ог а¹ фе означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся примечательными указаниями: «К — Банерель. 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц — Бубьер. 1 пистолет, 40 патронов; Д — Роле. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р — Тейсье. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; Террор, 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел внутри той же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво, был начертан следующий загадочный список:

Единство. Бланшар. Арбр-Сек, 6.

Барра. Суаз. Счетная палата.

Костюшко. Обри-Мясник?

Ж. Ж. Р.

Кай Гракх.

Право осмотра. Дюфон. Фур.

Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.

Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 86 патр.

Марсельеза.

Главенст. народа. Мишель. Кенкампуа. Сабля.

Гош.

Марсо. Платон. Арбр-Сек.

Варшава. Тили, продавец газеты *Попюлер*.

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, понял ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло после того, как эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться дела.

На улице Попенкур, при обыске у старьевщика, в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, сложенных пополам и вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек той же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра	12 унций
Сера	2 унции
Уголь	2 с половиной унции
Вода	2 унции

Протокол обыска гласил, что от ящика сильно пахло порохом.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных *Лопьер*, песню, озаглавленную *Рабочие, соединяйтесь!*, и жестяную коробку с патронами.

Один рабочий, выпивая с приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и чугунный котелок со следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоявшим у постели; в руке у него были патроны, изготовлением которых он занимался.

Во время обеденного перерыва на заводах и фабриках заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Однажды правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю

спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Брожение происходило открыто и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах правительства. Все приметы этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»

Другой лавочник говорил: «Скоро начнется, я знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел получить семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не составлял исключения. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и вместе с тем тайного, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: *Плювиоз, год 40-й республиканской эры*, — общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям многозначительные названия:

ПИКИ.
НАБАТ.
СИГНАЛЬНАЯ ПУШКА.
ФРИГИЙСКИЙ КОЛПАК.
21 ЯНВАРЯ.
НИЩИЕ.
БРОДЯГИ.
РОБЕСПЬЕР.
НИВЕЛИР.
НАСТАНЕТ ДЕНЬ.

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался *Гальский союз* и *Организационный комитет городских самоуправлений*. Так образовались союзы: *Свобода*

печати, Свобода личности, Народное образование, Борьба с косвенными налогами. Затем Общество рабочих — поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятую — сержант, двадцатую — младший лейтенант, четыремя десятками — лейтенант; здесь знали друг друга не больше чем пять человек. Эта выдумка, в которой осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоявший во главе центральный комитет имел две руки — Общество действия и Армию Бастилии. Легитимистский Союз рыцарей верности ссорил эти республиканские объединения. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдov» на улице Матюрен-Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды — в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько допускали обстоятельства, были открытыми; об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? — На улице Мира. — У кого? — На улице. — Какие секции были там? — Одна. — Какая? — Секция Манюэль. — Кто был ее руководителем? — Я. — Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? — Из центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работающее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард таилась ужасающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редкого ума. А именно нищета и ум представляют собой особенно грозное сочетание крайностей.

У предместья Сент-Антуан были и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда — и причина и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, когда на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.

Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, известны в истории. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвышавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из ее глубин священные дунения, — на те таверны, где столы были подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет *сивиллиным вином*.

Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь,

она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: *Ingens*¹.

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей... Поясним это выражение. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни создающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, заботы общества для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полутолодные, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.

Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Скрытые под маской тьмы, они требовали света.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, — мы это признаем, — но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они с кротким видом высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство, — мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика Бога.

¹ Могучий (лат.).

АНЖОЛЬРАС И ЕГО ПОМОЩНИКИ

Незадолго до этого Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен».

Вводя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

— Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их готовить.

Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, доведем сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взгляни на политехников. Сегодня среда — у них день отдыха. Фейи! Вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все клокочет. Баорель посетит Эстрападу. Прувер! Масоны охлаждаются. Ты принесешь им весть о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюз прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Я же займусь Кутурдой.

— Значит, все в порядке, — сказал Курфейрак.

— Нет.

— Что же еще?

— Очень важное дело.

— Какое? — спросил Курфейрак.

— Менская застава, — ответил Анжольрас.

Он помедлил, как бы раздумывая, потом заговорил снова:

— У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Необходимо поговорить с ними немного, но твердо. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть уголь под пеплом. Я рассчитывал на беспамятного Мариуса, малого, в

общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

— А я? — сказал Грантер. — Я-то ведь здесь!

— Ты?

— Я.

— Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!

— Почему же нет?

— Да разве ты на что-нибудь годишься?

— Но я некоторым образом стремлюсь к этому.

— Ты ни во что не веришь.

— Я верю в тебя.

— Грантер! Хочешь оказать мне услугу?

— Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

— Хорошо. В таком случае не вмешивайся в наши дела.

Потягивай абсент.

— Анжольрас! Ты неблагодарен.

— И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе?

Ты на это способен?

— Я способен пойти по улице Грe, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать по Старому Тюильри, проскочить бульвар, наконец, идя по Менскому шоссе, пройти заставу и попасть прямо к Ришфе. Я на это способен. И мои сапоги тоже способны.

— Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

— Не скажу, что хорошо. Однако я с ними на «ты».

— Что же ты им скажешь?

— Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.

— Ты?!

— Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен *Общественный договор*, я знаю наизубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И, по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

— Будь посерьезнее, — сказал Анжольрас.

— Уж куда серьезнее! — ответил Грантер.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову с видом человека, который принял решение.

— Грантер! — сказал он значительно. — Я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантер жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

— Красный, — сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Энергичным жестом он прижал обе руки к пунцовым отворотам жилета.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

— Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и удалился.

Четверть часа спустя дальняя комната в кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись по своим делам. Анжольрас, взявший на себя Кутурду, вышел последним.

Члены Кутурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, многочисленных по эту сторону Сены.

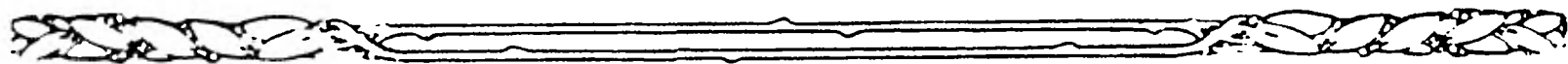
Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развиваются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Вот где причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась длинная пороховая дорожка — его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи — этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, — все вместе производило что-то вроде потрескивания, всюду и одновременно сопровождающееся электрическими искорками. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантере. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по дороге, — сказал он себе. — Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим, что делает Грантер и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он с такой силой распахнул дверь, что она хлопнула его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантер, споривший со своим противником.

Грантер сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору. Вот что услышал Анжольрас:

- Два раза шесть.
- Четверка.
- Свинья! У меня таких нет.
- Ты пропал. Двойка.
- Шесть.
- Три.
- Очко!
- Мне ходить.
- Четыре очка.
- Неважно.
- Тебе ходить.
- Я здорово промазал.
- Ты пошел правильно.
- Пятнадцать.
- И еще семь.
- Теперь у меня двадцать два. (*Задумчиво.*) Двадцать два!
- Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.
- Та же двойка.
- Очко!
- Очко? Так вот тебе пятерка.
- У меня нет.
- Ты же как будто выставил?
- Да.
- Пустышка.
- Ну и везет тебе! Да... Везет! (*Длительное раздумье.*) Двушка.
- Очко!
- Проехал. Не надоело еще?
- Кончил!
- Ну и черт с тобой!



ЭПОНИНА

Глава первая

ЖАВОРОНКОВО ПОЛЕ

Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, о которой он предупредил Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус тоже ускользнул из дома. Было девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим», он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно предоставляли убежище восстанию. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».

На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в дом Горбо, заплатил за квартиру и все, что с него причиталось, тетушке Ворчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего нового адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Ворчунью, ответившую ему: «Съехал!»

Тетушка Ворчунья была убеждена, что Мариус являлся сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы мог подумать! — воскликнула она, болтая с соседними привратницами. — Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девица!»

У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое — испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом облики, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем

злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе — его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.

Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.

Прошел месяц, другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.

У Мариуса денег больше не было, и он брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» — раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» — спрашивал себя Тенардье.

Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, — неведомые ему существа, составлявшие весь смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: она не Урсула. «Жаворонок» — прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый одно и то же лицо. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был он или не был отцом девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска,

страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно пламя, которое сжигает нас, вместе с тем просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не попробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь обрисована несколькими словами: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.

В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыхание. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.

Мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокою, и порождает в нем легкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но одна лишь мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что в общем, это одно и то же. Заблуждение!

Мышление — работа ума, мечтательность — его сладострастие. Заменить мысль мечтой — значит принять яд за пищу.

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. Он выходил из дому только чтобы побродить и помечтать. Ленивые попытки жить! Пучина, бурлящая и затягивающая. По мере того как деятельность умерялась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слаб волен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость губительна, то великодушные здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый,

благородный и не работающий погибает. Средства иссякают, потребности возрастают.

Это роковой склон, на который вступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям — самоубийству или преступлению.

Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.

Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.

Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, кого он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте — то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он видел, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, он чувствовал, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»

Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом прибавлял: «И мои думы, быть может, находят ее».

Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную идеальную из грез, которыми любовь заподняла его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он утратил способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более чем когда-либо отличался проницательностью и справедливостью суждений.

Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он воспринимал все верно, но с какой-то нескрываемой им удрученностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недостигаемой высоте.

При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало; каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, тот не видел ничего истинного и ничего не знает.

Душа любящая и страдающая — возвышенна.

Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу казалось, что темное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край бездонной пропасти.

— Как! — повторил он. — И я ее перед этим не увижу?

Если двинуться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и некоторое время идти вдоль прежнего внутреннего бульвара с левой стороны, то дойдешь до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя до речки Гобеленов, вы увидите нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров представляет собой единственное место, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.

Все там исполнено прелести, источник которой неведом: зеленый лужок, над которым протянуты веревки, где сушится на ветру разное тряпье; старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами; полуразрушенные изгороди; вода, поблескивающая между тополями; женщины, смех, голоса; на горизонте — Пантеон, дерево возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине — строгие четырехугольные башни Собора Богоматери.

Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще чем через раз в четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.

Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась ре-

дость — прохожий. Мариус, пораженный диким очарованием местности, спросил его:

— Как называется это место?

Прохожий ответил:

— Жаворонково поле.

И прибавил:

— Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври.

После слова «Жаворонково» Мариус ничего больше не слышал. Порою человеком, погружившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение — для этого довольно какого-нибудь одного слова. Мысль сразу сосредоточивается на одном образе и неспособна ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» — название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах! — сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном таинственным беседам с самим собой. — Так это ее поле! Здесь я узнаю, где она живет».

Это было бессмысленно, но непреодолимо.

И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.

Глава вторая

ЗАРОДЫШИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТЮРЕМНОМ ГНЕЗДИЛИЩЕ

Успех Жавера в доме Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.

Прежде всего — а это было главной заботой Жавера — ему не удалось сделать пленника бандитов своим пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.

Ускользнул от Жавера и Монпарнас.

Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, стоявшую на карауле под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. А Эпонину Жавер снова «сцапал». Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.

Наконец во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош,

исчез. Никто не знал, как это случилось; агенты и сержанты «ничего не понимали»; он словно превратился в пар, он выскользнул из наручников, он просочился сквозь щели кареты — а щели в ней были — и убежал; когда подъехали к тюрьме, то могли только сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не был ли этот человек причастен к двойной загадке — беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как преступления, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на злодеяние, а задними на власть? Жавер не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о подобной сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться и очень хорошим агентом. Иметь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, — это выгодно для бандитов и удобно для полиции. Такие двуликие мошенники существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был скорее раздражен, чем удивлен.

Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное трусившего», то для Жавера, забывшего его имя, он большого интереса не представлял. Кроме того, он — адвокат, значит разыщется. Но только ли он адвокат?

Следствие началось.

Судебный следователь решил одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.

Имя Брюжона — одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именovala Сен-Бернарским двором, а воры — Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и поднимающаяся вровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых, заржавленных железных ворот, ведущих в бывшую часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, а под ним надпись:

БРЮЖОН, 1811

Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года.

Последний, которого мы видели мельком в засаде у Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.

Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление — отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.

Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. Он целыми часами, как идиот, простаивал во дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, созерцая гнусный прейскурант тюремной лавчонки, начинавшийся: «Чеснок — 62 сантима» и кончавшийся: «Сигара — 5 сантимов», или весь трясся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, спрашивался, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг во второй половине февраля 1832 года стало известно, что Брюжон, это рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, — сумма непомерная, обратившая внимание начальника тюремной стражи.

Узнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон — десять су, другое в Валь-де-Грас — пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу — двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А близ Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бисарро, Бахвала — каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение о каком-то злодейском умысле. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона пресечены. Приблизительно через неделю после того, как были приняты эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового

здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, — таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается жетон, — через глазок в дверях спальни увидел Брюжона: тот, сидя на койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти то что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.

Достоверно одно: на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлеманя в Львиный ров был переброшен «почтальон».

Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.

На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.

«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержащую всего две строки:

«Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».

Это и писал Брюжон ночью.

Обманув бдительность надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.

Как раз в это время, за недостатком улик против дочерей Тенардье, Эпонина и Азельма были освобождены.

Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая

ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей *осветить дельце*.

Эпониная отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперсе, сухарь, а Маньон передала его любовнице Бабета в Сальпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: *нечего делать*.

Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке в дозорных тюрьмы Форс — один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» — спросил Брюжон. «Сухарь», — ответил Бабет.

Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.

Однако это привело к некоторым последствиям, правда, не входившим в планы Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.

Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.

Глава третья

ВИДЕНИЕ ПАПАШИ МАБЕФА

Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить Мабефа.

В то время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливых, спускался туда и Мабеф.

«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Мабефу удалось вырастить лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак парой яиц, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. Часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно делал, что не посещал его. Но когда Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались

на Госпитальном бульваре. Они не вступали в разговор — они только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет! Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.

Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежды. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений создам новый успех моей «Флоре» и куплю, — уж я-то знаю где! — *Искусство навигации* Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, изданное в 1559 году».

А пока же он проводил целые дни возле грядки с индиго, вечером возвращался к себе, поливал садик и читал книги. Ему было без малого восемьдесят лет.

Однажды вечером ему представилось странное видение.

Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.

Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее — кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.

Мабеф, надев очки, стал перелистывать и просматривать две книги, очень его волновавшие и даже, что еще удивительнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Врожденная робость способствовала его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра *О личинах демонов*, вторая, *in quarto*, *О воверских бесах и бьеврских кобольдах* Мотор де ла Рюбодьера. Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его в старину посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные тона небо, а землю — в темные. Читая, Мабеф поглядывал поверх книги на растения, в частности — на великолепный рододендрон, служивший ему утешением. Вот уже четыре дня стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли согнулись, бутоны поникли, листья повисли, — все нуждалось в поливке.

Вид рододендрона был особенно печален. Папаша Мабеф принадлежал к числу людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и неверными шагами, сгорбившись, пошел к колодезю; но, ухватившись за цепь, он не мог даже дернуть ее, чтобы снять с крюка. Он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.

В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль души скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.

«Все небо в звездах! — думал старик. — Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!»

И снова опустил голову.

Затем, опять взглянув на небо, прошептал:

— Хоть бы одна росинка! Хоть бы капля жалости!

Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колоде и не мог.

И тут он услышал голос:

— Папаша Мабеф! Хотите, я полью сад?

Послышался треск, словно через изгородь пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка и остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.

Прежде чем папаша Мабеф, которого, как мы уже отмечали, легко можно было привести в смущение и напугать, нашел в себе силы произнести что-то членораздельное, девушка, чьи движения в темноте приобрели странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодез ведро и, вытащив его, наполнила лейку, а затем старик увидел, как это босоное, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.

Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.

Когда она в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, бегала по аллеям, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.

Как только она кончила свое дело, Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.

— Да благословит вас господь! — сказал он. — Вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.

— Ну нет,— ответила она,— я дьявол, а впрочем, мне все равно.

Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:

— Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!

— Кое-что вы можете сделать,— ответила она.

— Что же?

— Сказать мне, где живет господин Мариус.

Старик сначала не понял.

— Какой господин Мариус?

Его тусклый взгляд, казалось, всматривался во что-то исчезнувшее.

— Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас. Мабеф усиленно рылся в памяти.

— А, да!..— вскричал он.— Понимаю. Стойте! Господин Мариус... барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет... или, вернее, он там больше не живет... Ах нет, не знаю!

Он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.

— Подождите,— продолжал он,— я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его часто можно встретить.

Когда Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.

Само собою разумеется, он был слегка напуган.

«Право,— подумал он,— если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».

Через час, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он пробормотал:

— В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?

Глава четвертая

ВИДЕНИЕ МАРИУСА

Спустя несколько дней после того как «дух» посетил папашу Мабефа, однажды утром, в понедельник,— день, когда Мариус обычно брал займы у Курфейрака сто су для Тенардье,— Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился

«прогуляться», в надежде, что после прогулки работа у него будет спориться. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он точас садился за стол, на котором лежала книга и лист бумаги, намереваясь состряпать какой-нибудь перевод, — как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор: контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался перевести хотя бы одну и не мог; он видел звезду, сиявшую между ними и бумагой, и вставал. «Надо пройтись. Это меня оживит», — говорил он себе.

И шел на Жаворонково поле.

А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклее становились Савиньи и Ганс.

Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.

Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.

В это утро он покинул седьмое дерево и сел на парапет набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распутившуюся, блестящую листву.

Он думал о «ней». Постепенно его думы, обернувшись упреками, перекинулись на него самого; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.

Однако сквозь всепоглощающую меланхолию, сквозь грустную сосредоточенность, сквозь поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, — у него даже не было сил отчаиваться, — Мариус все же воспринимал явления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны — шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой — шум работы. Эти веселые звуки навевали на него глубокую задумчивость, и в этой задумчивости начали вырисовываться связные мысли.

Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос:

— А вот и он!

Он поднял голову и узнал несчастную девочку, которая

пришла к нему однажды утром, — старшую дочь Тенардые, Эпониу; теперь ему было известно ее имя. Странно! Она совсем обнищала, но похорошела, — прежде она казалась неспособной на такого рода перемену. Она прошла двойной путь: к свету и нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старше: дыры стали шире, рубище еще отвратительнее. У нее был все тот же хриплый голос, все тот же морщинистый, загорелый лоб, все тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее лице еще сильнее чем прежде проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.

В волосах у нее запутались соломинки и сенинки, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.

И несмотря ни на что, она была хороша. О юность! Какая звезда сияет в тебе!

Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился проблеск радости и некое подобие улыбки.

Некоторое время она молчала, словно не в силах была заговорить.

— Все-таки я вас нашла! — сказала она наконец. — Папаша Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не подхожу. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых полтора месяца! Значит, теперь вы там не живете?

— Нет, — ответил Мариус.

— А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты! Вы, значит, переехали? Послушайте! Почему у вас такая старая шляпа? Молодой человек, такой как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, папаша Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше — не помню как. Но ведь вы не барон? Бароны — они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают *Ежедневник*, по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы теперь живете?

Мариус не отвечал.

— Ах! — продолжала она, — у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.

Она прибавила с печальным выражением лица:

— Вы как будто не рады меня видеть?

Мариус молчал; она тоже помолчала, потом вскрикнула:

— А все-таки, если я захочу, вы будете очень рады!

— Как? — спросил Мариус. — Что вы хотите этим сказать?

— Прежде вы говорили мне «ты»! — заметила она.

— Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?

Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.

— Ну, все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу...

— Да, да! Говори же!

Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:

— Я знаю адрес.

Мариус побледнел. Вся кровь прихлынула ему к сердцу.

— Какой адрес?

— Адрес, который вы у меня просили!

И прибавила как бы с усилием:

— Адрес... Ну, вы ведь сами знаете...

— Да, — пролепетал Мариус.

— Той барышни!

Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.

Мариус вскочил с парапета и вне себя схватил ее за руку.

— О, так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?

— Пойдемте со мной, — молвила она. — Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.

Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не упоенного, охваченного восторгом Мариуса:

— О, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонию за руку.

— Поклянись мне в одном!

— Поклясться? Что это значит? А, вы хотите, чтобы я поклялась вам?

Она засмеялась.

— Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!

Ошеломленная, она обернулась к нему.

— Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?

— Обещай мне сделать то, о чем я тебя прошу!

Она, казалось, не слышала.

— Как это мило! Вы назвали меня Эпониной!

Мариус взял ее за обе руки.

— Ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!

— Моему отцу? — переспросила она. — Ах да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!

— Да, но ты мне не обещаешь! — вскричал Мариус.

— Ну, пустите же меня — рассмеявшись, сказала она. — Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?

— И никому?

— Никому.

— А, теперь, — сказал Мариус, — проводи меня.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Идем. О, как он рад! — вздохнула она.

Сделав несколько шагов, она остановилась.

— Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите сзади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.

Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.

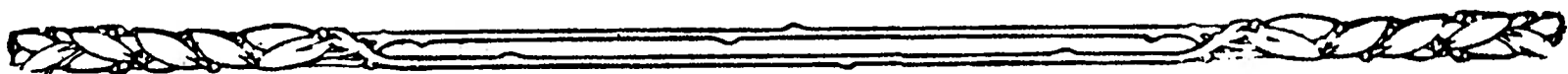
Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему, она проговорила:

— Кстати, вы обещали мне кое-что?

Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.

Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:

— Не нужны мне ваши деньги.



ДОМ НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ

Глава первая

ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ

В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, — в то время знатные господа выставляли своих любовниц на показ, а буржуа их прятали, — построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Блуме, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».

Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходившей на улицу. Сад занимал почти арпан, — только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине — низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля через потайную калитку позади него можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством, как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.

Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу — значит отправиться на улицу Блуме. Благодаря предусмот-

рительно прикупленным земельным участкам, изобретательный судья мог проложить потайной ход у себя, на своей земле, не опасаясь надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и владельцы участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, и даже не подозревали о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия всласть посплетничали о господине председателе.

Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто — рокайль внутри, рококо снаружи, — окруженный тройной цветущей изгородью, имел вид довольно скромный, немного кокетливый и отчасти торжественный, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.

Этот дом и проход, ныне исчезнувшие, еще существовали пятнадцать лет назад. В 93-м году какой-то медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, то его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее, неразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.

К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и что даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками — признак того, что там живет женщина.

В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал сюда,

словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.

Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка — Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика — три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще скорее узнал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье.

Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?

Ничего не случилось.

Как помнит читатель, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверно, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что — о прекрасная надежда! — они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы без его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем призвание, — значит изуродовать человеческое существо и солгать Богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и пожалев о том, что она — монахиня? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие. Он решил покинуть монастырь.

Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Препятствий не было. Пять лет жизни, проведенных в четырех стенах со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все

изменилось. Кто его теперь узнает? Кроме того, если предположить худшее, опасность существовала для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотнительным и принять меры предосторожности.

К этому времени воспитание Козетты было почти закончено.

Остановившись на определенном решении, он стал ждать случая, и случай не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.

Жан Вальжан попросил аудиенции у досточтимой настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он покорно просит досточтимую настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которые он и предлагает обители за пять лет, проведенных Козеттой под ее кровом.

Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.

Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого был всегда при нем. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.

Заметим, что отныне он не расставался с чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан *неразлучным*, добавляя: «ревную к нему».

Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю в большой тревоге.

Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультима Фошлевана.

В это же время он снял две квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей опасности, — словом, чтобы не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он чудом спасся от Жавера. Это были убогие, бедные квартирки в двух кварталах, весьма отдаленных один от другого, — одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.

Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен, он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, проводил там месяц, полтора. Он пользовался услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого есть пристанище и в городе. У этого в высшей степени добродетельного человека было целых три жилища в Париже — так он боялся попасться полиции.

Глава вторая

ЖАН ВАЛЬЖАН — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГВАРДЕЕЦ

Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свою жизнь следующим образом:

Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с коврами, обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахинном из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к древностям легкую, изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжный шкаф, книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминавшем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу — его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеваный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка — барышня». — «А вы, су-сударь?» — спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше чем хозяин; я — отец!»

В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье — к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал подаяние, в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для хранения дров и вина пользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов нежной страсти» не было любви без грота.

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет. Но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений от национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в то время, распространились и на монастырь Малый Пикпюс — на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.

Три-четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и — надо заметить, весьма охотно — нес караульную службу; то было законное переодевание, которое связывало его с другими людьми, вместе с тем давая ему возможность держаться особняком. Жану Вальжану минуло шестьдесят лет — в этом возрасте человек имеет право на освобождение от военной службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Любо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал

свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал все и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, — в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешне он хотел быть похожим на буржуа.

Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дому вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, — а это бывало обычно вечером, — то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову — картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было — предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и почти не замечала странностей отца. Тусен уважала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Чудак!» Она возразила: «Не чудак, а святой».

Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, — разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.

Но здесь, возможно, он заблуждался.

Глава третья

FOLIIS AC FRONDIBUS¹

Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.

¹ Среди листьев и ветвей (лат.).

Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько растений, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь — всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, — это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего к жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки — все смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность, в проникновенном и тесном объятии, славилась и свершала под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, святое таинство братства, — символ братства человеческого. Этот сад был уже не садом, — он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.

В флореале эта огромная заросль, вольная за решеткой и в четырех стенах, с жаром принималась за незримое дело вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти как животное, которое вдыхает веяние космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; развеивая по ветру свою чудесную зеленую гриву, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было отрадно смотреть, как хлопьями кружился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов ласково сообщал что-то душе, и то что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный, тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших

на ветвях; чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.

Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода; сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному плотному ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался он в любое время года — весной, зимой, летом, осенью, — от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога. И старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад — мой».

Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах — великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом — купол Дома инвалидов, недалеко — Палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, — улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось в четырех стенах неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь то муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.

В природе нет ничего незначительного; кто наделен даром глубокого проникновения в нее, тот знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.

Алгебра приложима к облакам; излучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может

измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ — явление значительное; малое велико; великое мало; все уравнивается необходимостью — видение устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворение усложняется — от образования метеора и от удара клювом; которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит и к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Где кончается телескоп, там начинается микроскоп. У кого из них поле зрения больше? Выбирайте. Плесень — плеяда цветов; туманность — муравейник звезд. Та же тесная близость, еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других и в конечном счете приводят мир материальный в мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновения, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, — здесь зарождавая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная всюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, именуемой «я»; сводя все к душе — атому; раскрывая все в Боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого, головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя — кто знает? быть может, по одному и тому же закону, — передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой — мошка, а последнее колесо — зодиак.

ПОСЛЕ ОДНОЙ РЕШЕТКИ ДРУГАЯ

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак — сгущаясь то здесь, то там, он ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью садовника, — один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой — продолжателем искусства Ленотра, — исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных походов; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуготовила для любви.

Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был и храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей только исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она производила впечатление скорее дурнушки, чем красавицы; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой, — словом, это был подросток.

Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и, в особенности, благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но в общем она не знала ничего, а в этом таится и очарование и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, — впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие, слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму следует мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и пре-

пятствует падениям. Только материнский инстинкт, — это изумительное прирожденное чувство, в котором слиты девические воспоминания и женский опыт, — знает, как, каким образом надо создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт, когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят матери.

У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».

Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, старик ничего в этом не смыслил.

Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!

Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, утратив возможность излиться, и замыкается, утратив возможность расцвести. Отсюда видения, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, — сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.

Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но отгораживавшая сад от улицы.

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще ребенком. Жан Вальжан предоставил этот запущенный сад в ее распоряжение. «Делай здесь все, что хочешь», — сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, переворачивала камни, она искала «зверушек»; она играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради звезд, которые она увидит сквозь ветви над головой.

И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжа-

на, всей душой, с наивной дочерней страстью, и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал читать, и из него вышел хороший рассказчик; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жестокости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; у него был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала его с мечтательным блуждающим взглядом.

Этот простой человек насыщал мысль Козетты так же, как этот дикий сад — ее взор. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибежала к отцу и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.

Козетта обожала доброго старика. Она ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, а каморку с соломенными стульями — большой гостиной, обтянутой коврами обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что она ему докучает, говорил улыбаясь: «Ну, пооди же к себе! Дай мне побыть одному».

Козетта отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу.

— Отец! Мне очень холодно у вас. Почему вы не постелите ковер и не поставите печку?

— Милое дитя! На свете столько людей лучше меня, а у них нет даже крыши над головой.

— Почему же, в таком случае, у меня тепло и есть все, что нужно?

— Потому что ты женщина и ребенок.

— Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?

— Некоторые мужчины.

— Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить.

Потом она ему говорила:

— Отец! Почему вы едите такой гадкий хлеб?

— Потому, доченька...

— Ах так? Ну и я буду есть такой же.

Чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жану Вальжану приходилось есть белый.

Козетта смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардьё остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Когда ей рисовалось ее детство, она видела вокруг себя лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.

Когда он сидел подле нее, она прижималась щекой к его седым волосам и, молча роняя слезу, думала: «Быть может, это моя мать!»

Материнство — понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки, воспитывавшейся в монастыре, в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда она спрашивала об этом Жана Вальжана, он молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчива, и его улыбка сменилась слезой.

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.

Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь доверить ее имя чужой памяти со всеми ее неожиданностями?

Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но когда она превратилась в девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на это права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине, молчание угнетало его, и ему чудилось, будто во мраке он различает что-то, похожее на палец, приложенный к устам. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над

усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы веруем в смерть и не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то Козетта сказала ему:

— Отец! Сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.

— Да, мученичеством,— ответил Жан Вальжан.

Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.

Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его утопает в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый неземной радостью; он с восторгом твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он уверял себя, что недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил бога за то, что его, отверженного, так горячо любило это невинное существо.

Глава пятая

РОЗА ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ОНА СТАЛА ОРУДИЕМ ВОЙНЫ

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. Кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? — думала она. — Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» Она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду, как мадемуазель такая-то?»

На следующий день она уже сознательно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в

голову? — подумала она. — Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиной.

Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или исполняла какую-нибудь другую работу, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.

В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то сзади нее сказал: «Красивая! Только плохо одета».

«Это не про меня, — подумала она. — Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериновом платье.

Наконец однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слышала, что ответил отец: слова Тусен были для нее откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу — уже три месяца как она не смотрелась в него — и вскрикнула. Она была ослеплена собой.

Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и со своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то особенное сияние зажглось в ее голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, — сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.

А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.

С некоторых пор он с ужасом глядел на красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.

Козетта была хороша задолго до того, как она это заметила. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно зали-

вавшим девушку неожиданным светом. Он воспринял это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, — этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и вымаливал у Провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного: любви Козетты!

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» — он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил: «Хочешь райского блаженства?» — он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом».

Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не очень хорошо понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.

Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним, все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.

Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станет со мной?»

В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.

Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.

На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» — она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красивая, только плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее серд-

це одно из двух зерен, которые, взойдя, заполняют всю жизнь женщины, — зерно кокетства. Второе зерно — любовь.

Как только она поверила в свою красоту, в ней проснулась ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериновому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу, — тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.

Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, — а это немало, — но и одной из самых «хорошо одетых», что гораздо важнее. Ей хотелось встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.

Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее — ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.

Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.

Выйдя из дому в первый раз в черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила:

— Ну, как вы меня находите, отец?

Жан Вальжан ответил тоном, в котором сквозила горькая нотка зависти:

— Восхитительной!

На прогулке он держался, как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:

— Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?

Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платью шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.

— Костюм для ряженого! — воскликнула она. — На что

он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!

Жан Вальжан глубоко вздохнул.

С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец! Мне так хорошо здесь с вами!» — теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?

Еще он заметил, что Козетта уже не так любит дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой. Жан Вальжан, замкнувшись в себе, не показывался в саду. Он не покидал дворика, словно сторожевой пес.

Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке и сама того не подозревая, ключи от рая. Но, утратив прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.

Именно в это время Мариус, после полугодового перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.

Глава шестая

БИТВА НАЧИНАЕТСЯ

Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым, таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака — грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.

В романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов люди перестали в нее верить. Теперь нужна смелость для того, чтобы сказать, что он и она полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И, однако, именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.

Это было такое же зло и такое же благо.

Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядят в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.

Все же она не могла не признать, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он совсем не глуп, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.

В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и наконец сказали друг другу неясные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. В глубокой задумчивости вернулась она в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала о молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание несколько не льстит ей. Скорее она сердилась на красивого гордеца. Что-то протестующее шевельнулось в ней. Ей казалось, что она наконец отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.

Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.

Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдемте, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека — робость, у молодой девушки — смелость. Это удивительно и в то же время очень просто.

Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта — с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.

Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.

Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова в земном его значении. В тетрадах светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображение старших пансионеров: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость — не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?

Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»

Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности — другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, — словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоя-

нии, в это первое время вспутнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перемешивались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный: нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недостижимое.

Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.

Каждый день она терпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.

Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и не ведающей о своей любви. Сверх того — кокетливой в силу своей невинности.

Глава седьмая

ЗА ОДНОЙ ПЕЧАЛЬЮ ПЕЧАЛЬ ЕЩЕ БОЛЬШАЯ

При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружающий его мрак, словно чувствуя, что в то время как нечто создается, нечто другое разрушается. Мариус, предупрежденный той же матерью-природой, — и в этом мудрость божественного закона, — делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Иногда Жан Вальжан его замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уже не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экс-

таз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в старом фраке, теперь всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.

Козетта не давала поводов для подозрений. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.

Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.

Он не говорил с Козеттой о незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека внезапно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей:

— Как важничает этот молодой человек!

Годом раньше Козетта с безразличием девочки, ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:

— Кто? Ах, этот молодой человек!

Можно было подумать, что она видит его первый раз в жизни.

«Как я глуп! — подумал Жан Вальжан. — Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».

О простота старцев! О мудрость детей!

Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадает ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святой простоте, свойственной его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнута в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан

Вальжан пришел к выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».

И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло вот-вот наступить. Не начинается ли все с равнодушия?

Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула:

— Уже?

Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и опасаясь возбудить подозрение Козетты; но в эти столь сладкие для влюбленных часы, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он не считал себя способным на какое-либо недоброе чувство, однако порой при виде Мариуса ему казалось, что он снова становится диким, свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему чудилось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.

«Как! Он здесь, этот малый? Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!»

«Да,— продолжал думать Жан Вальжан,— это так! Чего он ищет! Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет стоять на коленях, выстрадать все, что только можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел,— а это справедливо, это хорошо, я за это заплатил, я это заслужил,— чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души лишь только потому, что како-

му-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»

И тогда его глаза загорались необыкновенным зловещим светом. Это был уже не человек, вззирающий на другого человека; это был не враг, вззирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.

Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он заговорил с привратником. Тот заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» — осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.

Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась ответов; она уже достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жану Вальжану были неведомы такого рода тревоги, он не знал, что только они таят в себе очарование, и только их ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. Это свидетельствовало о неопытности в борьбе обеих сторон.

Однажды, желая испытать ее, он спросил:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Луч света озарил бледное личико Козетты.

— Да, — ответила она.

Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.

На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

— Нет, — печально и кротко ответила она.

Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда Жан Вальжан не ложился спать; он просиживал целые ночи около своего жалкого ложа, обхватив руками голову и спрашивал себя: «Что же такое на уме у Козетты?»; он старался понять, о чем она думает.

О, какие скорбные взоры обращал он в эти минуты к мо-

настырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир — бедная жертва преданности, ею же повергнутая в прах! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»

Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней у него всегда было ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было еще более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.

Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно, не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на прогулки, женское чутье невнятно прошептало ей, что не следует вызывать интерес к Люксембургскому саду и что если бы она была к нему равнодушна, отец снова бы повел ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молча принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала стеснение в груди; оно не проходило, а усиливалось с каждым днем. Она уже не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она пребывала угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.

Впрочем, она тоже ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.

Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он спрашивал ее:

— Что с тобой?

Она отвечала:

— Ничего.

И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:

— А вы, отец? Что с вами?

— Со мною? Ничего, — говорил он.

Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь.

Глава восьмая

КАНДАЛЬНИКИ

Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе свет.

В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке что-то детское. Им владело непреодолимое чувство; ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время старческие, в силу их наивности, навели его на другие: он поверил, и не без основания, в действие мишуры на воображение молодых девушек. Как-то он увидел на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, — то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.

А тут еще неожиданное потрясение!

В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца, — тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее!

Утренняя прогулка для любящего одиночество — все равно, что ночная прогулка, с тем лишь преимуществом, что

утром природа веселее. Улицы пустынные, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала рано. Эти утренние путешествия готовились накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета — то были ее скромные утехы. Такие невинные чудачества нравятся юности.

Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности, мало посещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись унылые, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее — свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, снимала шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость: девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.

Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.

Однажды, октябрьским утром, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет — восхитительный и суровый час. Мерцавшие в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, побелевшее небо, вздрагивающие стельки, таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на огромной высоте, и казалось, будто этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворяет беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила за ее куполом, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.

Всюду были мир и тишина; на дороге ни души; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, шедших на работу.

Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот дровяного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладе-

ло то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть мысли, которые можно было бы назвать вертикальными, — они заводят в такую глубину, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.

Вдруг она воскликнула:

— Отец! Оттуда кто-то едет.

Жан Вальжан поднял голову.

Она была права.

Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы, и ее пересекает под прямым углом бульвар. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался трудно объяснимый в такое время шум и виднелась неясная громкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.

Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, и в то же время это было что-то вздыбленное и колышущееся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно были видны лошади, колеса, слышались крики, хлопали бичи. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали громче, все это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.

Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.

По дороге цепочкой тянулись семь повозок. Первые

шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги или, вернее, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные цутом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей было еще невозможно, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, — так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало: то была цепь; на шеях что-то поблескивало: то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояло два человека с ружьями; каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунов, жаровен и цепей, и лежали, вытянувшись во весь рост, связанные люди, с виду больные. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.

Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шли в два ряда гнусного вида конвойные в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязками, с тесаками, ружьями и палками, — настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошайек сочеталась с властью палачей. Тот, кто, по-видимому, был их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, ступшеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы, с саблями наголо.

Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только еще съезжала с бульвара.

По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, по-

явившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В ближних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на зрелище.

Скученные на дорогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу, а в остальном их одежда являла собой причуды нищеты. Она была отвратительно несуразна; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и, рядом с блузой, черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, на других — плетушки; виднелись волосатые груди, сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку; храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него: это был хлеб. Глаза у всех были сухие, потухшие или светившиеся недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза заливались смехом ребятишки.

Эта вереница повозок, какова она ни была, наводила на мрачные мысли. Можно было ожидать, что не сегодня-завтра разразится ливень, потом еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных, под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.

Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно мешки с мусором.

Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Язы-

ки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно; то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рот трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря, наводя черные тени, подчеркивала жалкие профили; все были изуродованы нищетой, это было настолько чудовищно, что казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывавшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попури из пользовавшейся в то время известностью *Весталки Дезожье*; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.

В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных; там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и потому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, в прошлом, быть может, невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравниватель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественно-го дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, и разумение, перешедшее в отчаяние. Тут не из кого было выбирать: эти люди представляли собой как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега — свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; на одной скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствова-

ли; последняя была нема, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.

Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице Апокалипсиса, а, что еще страшнее, на позорных тюремных повозках.

Один из конвойных, державших палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти и приговаривала: «Это тебе урок, негодник!»

Пение и брань все усиливались; наконец тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому знаку ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, и это удваивало веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.

Взгляд Жана Вальжана был страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору представало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть, — и не мог двинуть пальцем. Иногда увиденное овладевает вами и как бы вцепляется в вас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой, смутной тревоге, что означает это зловещее преследование, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу, — обычное движение тех, к кому внезапно возвращается память, — он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.

Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:

— Отец! Что такое в этих повозках?

Жан Вальжан ответил:

— Каторжники.

— Куда же они едут?

— На каторгу.

В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, — то

было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их в состояние отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.

Козетта дрожала с головы до ног.

— Отец! И все это — люди? — снова спросила она.

— Некоторые из них, — ответил несчастный.

Это был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направляющийся по дороге в Мен, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленный. Такая встреча равносильна удару; она оставляет по себе грозную память.

Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она задавала еще вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала:

— О господи! Мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!

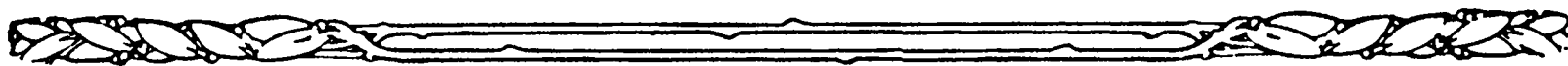
К счастью, на следующий день после этой трагической встречи, в Париже, по случаю какого-то официального торжества, состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация всюду. Жан Вальжан, изменив своим привычкам, повел Козетту на праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся в Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.

Парад, бывший приправой к празднеству, естественно вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, испытывая нечто похожее на чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к

этому общему котлу веселья, именуемому «народным гуляньем»; Жан Вальжан имел право думать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.

Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли в сад — это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит — не любит»; да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку — значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заморожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем девушку. Рядом, в кустах, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила:

— Отец, а что это такое — каторга?



**ПОМОЩЬ СНИЗУ
МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОЩЬЮ СВЫШЕ**

Глава первая

РАНА СНАРУЖИ, ИСЦЕЛЕНИЕ ВНУТРИ

Так день за днем омрачалась их жизнь.

У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, — оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от бывшей задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось помочь многим страдальцам, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.

На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, воспалившейся, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара».

Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. Глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»

Пока отец был болен, Козетта покинула особняк: она снова полюбила флигелек и дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродя-

га, охлаждение Козетты — все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я все это выдумал. Я старый сумасброд».

Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардые в конуре Жондрета почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, — думал он, — и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»

Об отвратительном видении на Менской заставе Козетта больше не заговаривала.

В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого, она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.

Наступила весна; сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». — «Хорошо, отец», — сказала Козетта.

Исполняя его желание, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.

Его рана дала другое направление мыслям обоих.

Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не заметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель — этот рассвет лета, свежий, как заря, веселый, как детство, иногда плаксивый, как новорожденный. Природа в этом месяце полна пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов в человеческое сердце.

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как в ясный полдень в подвале. Да Козетта особенно и не опечалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка,

поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан с радостью убеждался, что она снова становится свежей и румяной.

— О целебная рана! — тихонько повторял он.

И он был благодарен Тенардье.

Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.

Но было бы заблуждением думать, что можно без всяких приключений гулять одному вечерами по малонаселенным окраинам Парижа.

Глава вторая

ТЕТУШКА ПЛУТАРХ БЕЗ ТРУДА ОБЪЯСНЯЕТ НЕКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка; ему показалось, что это деревня Аустерлиц.

Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, а в этом саду — довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко — это ужин; яблоко — это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. За садом была пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? — раз-два и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.

В двух шагах от него, по ту сторону изгороди, как раз против места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Ста-

руха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.

— Господин Мабеф! — сказала старуха.

«Мабеф! — подумал Гаврош. — Вот потеха!»

Старик не шевельнулся. Старуха повторила:

— Господин Мабеф!

Старик, не поднимая глаз, наконец отозвался:

— Что скажете, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх! — подумал Гаврош. — Да это прямо умора!»

Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.

— Хозяин недоволен.

— Почему?

— Мы должны за девять месяцев.

— Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.

— Он говорит, что выставит нас.

— Что ж, я пойду.

— Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас нет дров.

— Зато есть солнце.

— Мясник больше не дает в долг и не хочет отпустить говядину.

— Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Это для меня слишком тяжелая пища.

— Что же подавать на обед?

— Хлеб.

— Булочник требует по счету и говорит, что раз нет денег, не будет и хлеба.

— Хорошо.

— Что же вы будете есть?

— У нас есть яблоки.

— Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.

— У меня их нет.

Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Почти совсем стемнело.

Вместо того, чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней — таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.

«Смотри-ка, — воскликнул про себя Гаврош, — да тут настоящая спальня!» Забравшись поглубже, он свернулся в

комочек. Спиной он почти касался скамьи дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.

Вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.

Сон кошки — сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.

Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.

Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой — на некотором расстоянии сзади.

— А вон и еще двое, — пробормотал Гаврош.

Первый силуэт напоминал старого, согбенного, задумчивого буржуа, одетого более чем просто, вышедшего побродить вечером под звездным небом и ступавшего медленно, по-стариковски.

Другой был тонкий, стройный, подтянутый. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство; вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозила сила и изящество, а под шляпой, в сумерках, можно было различить бледный юношеский профиль и розу во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.

Гаврош уставился на них.

Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то виды на другого. Гаврош мог наблюдать, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.

Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте — это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.

Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.

Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыг-

нул на старика, схватил его за ворот, стиснул руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из прохожих лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся, каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло совсем не то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом такой страшной силы, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.

«Ай да старик!» — подумал Гаврош и, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.

Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»

Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:

— Вставай.

Монпарнас поднялся, но старик все еще держал его. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.

Гаврош смотрел во все глаза и слушал во все уши. Он забавлялся от души.

Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел разговор, приобретающий в ночной тьме трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал:

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?

— Ну, это скучно.

— Чем же ты занимаешься?

— Бездельничаю.

— Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

— Вором.

Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.

Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался

всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.

Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука.

— Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь влачить самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Ты видел одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться — она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг — ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа — закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Раз ты не хочешь быть тружеником, то станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному, раз ты не хочешь быть его другом, то будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости? Ты будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня? Вести плуг, вязать снопы — какое наслаждение! Барка на свободе под ветром, — ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал выучным животным в адской запряжке! Ничего не делать — это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. Что для других будет легким, как перышко, то для тебя будет каменной глыбой. Вещи, самые простые, покажутся тебе непреодолимой крутизной. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать — какая тяжелая работа! Твои легкие будут казаться

тебе стофунтовой тяжестью. Здесь пройти или там — станет для тебя трудно разрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово — он на улице. Для тебя же выйти из дому — значит пробуровать стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь веревку, потом вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, — и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься — упасть. Упасть, как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымоходе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые можно прикрывать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в тюфяке. Допустим, перед тобой замок; у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной, диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они вплотную скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, — ведь за тобой будут следить, — это просто монета в два су, для тебя — ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку, спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку всячего замка, перекадину в твоём окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпения, что ты получишь в награду, если обнаружат твоё изобретение? Карцер. Вот твоё будущее. Лень, праздность — да ведь это омут! Ничего не делать — печальное решение, знаешь ли ты это? Жить за счёт общества! Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведёт прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль — хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть чёрный хлеб, ты будешь спать на досках, в же-

лезных цепях, сковывающих твое тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьешь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползешь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как зверь. И тебя поймают. И ты проведешь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы собаки, будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты еще так молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни — на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину — получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной совет! Воровство — самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд — лень. Быть мошенником не легко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.

Отпустив Монпарнаса, старик положил ему в руку кошелек. Монпарнас взвесил его на руке и, с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман сюртука.

Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.

— Дуралей! — пробормотал Монпарнас.

Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.

Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезает в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.

В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.

Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что папаша Мабеф, по-видимому, задремавший, все еще сидит на скамье. Мальчишка вылез из кустов и тихонько пополз к

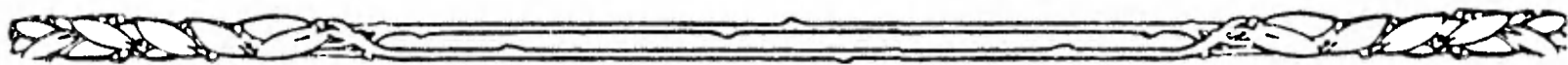
Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте.

Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел папаша Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.

Кошелек упал на ногу папаша Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом — шесть золотых монет.

Господин Мабеф в полной растерянности отнес находку своей домоправительнице.

— Это упало с неба, — сказала тетушка Плутарх.



КОНЕЦ КОТОРОЙ НЕ ПОХОЖ НА НАЧАЛО

Глава первая

УЕДИНЕННОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С КАЗАРМОЙ

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, незаметно для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную, девственную душу нечто походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.

Однажды она вдруг вспомнила Мариуса. «Как странно! — сказала она себе. — Я больше о нем не думаю».

На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девичьими щечками, с саблей на боку, нафабранными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. У него были белокурые волосы, голубые глаза навывкате, красивое круглое лицо с пустыми глазами и нахальным выражением — полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.

На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.

Была ли это простая случайность, но только теперь она видела его почти каждый день.

Приятеля офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец-лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.

— Послушай, — говорили они ему, — тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!

— Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! — отвечал улан.

Это было как раз в то время, когда Мариус был уже близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя.

Кто был бы в этом виноват? Никто.

Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта — к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают.

Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке — это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что доступно только его жене, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, — настоящей кабацкой стойкой.

Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь, нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глубине, какое-то воспоминание? В самой глубине? Быть может, Козетта и не знала об этом.

Вдруг произошел странный случай.

Глава вторая

СТРАХИ КОЗЕТТЫ

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хотя и редко. Уезжал он на день, на два. Куда? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз она провожала его в фиакре до глухого переулка, на углу которого можно было прочесть: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не было денег.

Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».

Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе. «В лесу заблудились охотники!» — хор из *Эврианты*, быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.

Внезапно в саду слышались шаги.

Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.

Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и прикинула к ней ухом.

Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.

Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. На небе сияла полная луна. Было светло, как днем.

В саду никого не оказалось.

Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, — пустынно, как всегда.

Козетта подумала, что ошиблась; очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным, мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, — хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать.

Козетта была не из робких. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдность и смелость.

На другой день вечером, но раньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. От неясных мыслей, кружившихся у нее в голове, ее отвлекал шум, подобный вчерашнему; ей начинало казаться, что она ясно слышит, как кто-то ходит в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих одна другую, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.

Она вышла из «зарослей»; ей оставалось лишь пересечь зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна отбросила ее тень на эту лужайку.

Козетта остановилась в испуге.

Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей страх и ужас, — тень в круглой шляпе.

Казалось, это была тень человека, стоявшего у самых зарослей, в двух-трех шагах от Козетты.

Она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевелинуться, ни повернуть голову.

Наконец собралась с духом и оглянулась.

Никого не было.

Она посмотрела на землю. Тень исчезла.

Она вернулась в заросли, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.

Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли это быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация — это еще куда ни шло, но две? Особенно тревожило ее то, что тень безусловно не была привидением. Привидения не носят круглых шляп.

На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей слышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты глупышка».

Но Жан Вальжан задумался:

— Тут что-нибудь есть, — сказал он.

Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.

Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду был человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.

Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующих. Козетта видела его в щель ставни.

На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее:

— Козетта!

Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно. Отец стоял внизу, на лужайке.

— Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, — сказал он. — Смотри! Вот твой призрак в круглой шляпе.

Он показал ей лежавшую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.

Козетта рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над зловещим садом, который посещали призраки печных труб.

К Жану Вальжану вернулось его спокойствие, а Козетта не задумалась над тем, могла ли печная труба отбрасывать тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, — Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.

Но через несколько дней случилось новое происшествие.

Глава третья,

ОБОГАЩЕННАЯ КОММЕНТАРИЯМИ ТУСЕН

В саду, возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба; тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.

Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла

посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею, — та непреодолимая печаль, которую приносит ветер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.

Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в вечерней тьме?

Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».

Она снова направилась к скамье.

Опустясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, конечно, не было за несколько мгновений до этого.

Козетта смотрела на камень и спрашивала себя, что это может значить. Внезапно у нее возникла мысль, испугавшая ее, — мысль, что камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.

— Отец вернулся? — спросила она Тусен.

— Нет еще, барышня.

(Мы уже говорили, что Тусен заикается. Да будет нам позволено больше на это не указывать. Нам претит изображение природного недостатка.)

Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.

— Тусен! — продолжала Козетта. — Хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?

— О, будьте спокойны, барышня!

Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо это знала, все же не могла не прибавить:

— Ведь здесь так пустынно вокруг!

— Вот уж правда, барышня, — подхватила Тусен. — Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но вы не бойтесь, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Подумать только! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут: «Молчи!» — и нач-

нут полосовать тебе горло. И не так боишься смерти, все умирают, тут уж ничего не поделаешь, все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди хватают тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!

— Полно! — сказала Козетта. — Заприте все хорошенько.

Козетта испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении на прошлой неделе, даже не посмела сказать: «Ступайте, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, похожий на огромную пещеристую гору.

Утром, когда взошло солнце, — а стоит солнцу взойти, как рассеиваются все ночные страхи и нам остается только посмеяться над ними, и чем сильнее страхи, тем радостней смех, — и Козетта проснулась, все ее ужасы показались ей кошмарным сном. «Что это мне привиделось? — сказала она себе. — Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.

«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, — решила она. — Мне приснился этот камень, как и все остальное».

Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и вся покрылась холодным потом. Камень был там.

Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.

«Какой вздор! — сказала она себе. — Ну-ка посмотрим, что тут такое!»

Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.

Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.

Козетта вскрыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.

Она вынула из конверта тетрадку, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как показалось Козетте, и очень мелким почерком.

Козетта стала искать имя — его не было; подпись — ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти непреодолимых чар; она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, что здесь написано.

Вот что она прочла:

Глава четвертая

СЕРДЦЕ ПОД КАМНЕМ

Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество — это и есть любовь.

Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Как печальна душа, когда она опечалена любовью!

Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое заполняет собою весь мир! Как это верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, — а ведь это очевидно, — вселенную для души, а душу для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.

Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо, значит проникнуть в его душу.

Иные мысли — те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, — на коленях.

Разлученные возлюбленные обманывают разлуку множеством химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они изобретают таинственные средства общения. Они посыла-

ют друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Что же тут такого? Все творения божии созданы для того, чтобы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания.

О весна! Ты — письмо, которое я ей пишу.

Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить — вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.

В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она — божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточение, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее глубины небес.

О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.

Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, — вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить самую силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог — это полнота неба; любовь — это полнота человеческого существа.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина!

У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся.

И тогда — смерть. Умереть из-за отсутствия любви — ужасно. Это смерть от удушья.

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!

В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.

То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.

Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.

Если вы камень — будьте магнитом; если вы растение — будьте мимозой; если вы человек — будьте любовью.

Любовь ничем не удовлетворяется. Человек обрел счастье, — он хочет рая; он обрел рай, — он хочет неба.

О любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. Любовь обладает тем же, что и небо, — созерцанием, и большим, чем небо, — наслаждением.

— Бывает ли она еще в Люксембургском саду? — Нет, сударь. — Она ходит в эту церковь, не правда ли? — Она больше туда не ходит. — Она по-прежнему живет в этом доме? — Она переехала. — Где же она теперь живет? — Она не сказала.

Как безотрадно не знать адреса своей души!

Любви свойственна ребячливость, другим страстям — мелочность. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!

Как странно! Знаете? Я — во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.

О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться ее пальцев — этого мне было бы достаточно на целую вечность!

Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильнее. Умирать от любви — значит жить ею.

Любите. Непостижимое мерцающее звездами преобразование соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.

О радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.

Любовь — божественное вдыхание воздуха рая.

Чуткие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приготовление к неведомой судьбе. Эта судьба — истинная судьба — открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимает у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.

Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях, вода проникала в его башмаки, а звездные лучи — в его душу.

Как хорошо быть любимым! И еще лучше — любить! Силою страсти сердце становится героическим. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; возносясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.

Не найдись на свете хоть один любящий, солнце погасло бы.

КОЗЕТТА ПОСЛЕ ПИСЬМА

Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер, — это было время его обычного появления, — победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла, что он отвратителен.

Она снова углубилась в чтение. Почерк показался Козетте восхитительным; записи были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо-черными, как бывает, когда в чернильницы подливают чернил, — следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без отбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывавшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда — о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Рукопись в пятнадцать страниц внезапно и ласково открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей пригоршню лучей. Она почувствовала в этих строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогавший и смиренный. Казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.

Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?

Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.

Он!

Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она

испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но — она ясно это видела — он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! — говорила она. — Как мне знакомо все это! Я уже раньше все прочитала в его глазах».

Когда она в третий раз кончила чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, устыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.

Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и помечтать. Перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.

Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.

Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. От ее лица то и дело отливала краска, по телу пробегала дрожь. Временами ей казалось, что она бредит; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее сейчас, он содрогнулся бы, глядя на непостижимую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, — думала она, — это наверное он! Это он написал для меня».

И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.

О превращения любви! О мечты! Этой божественной

случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.

Глава шестая

СТАРИКИ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ УХОДИТЬ ИЗ ДОМУ

Вечером, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько ниже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи, и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это было ничуть не неприлично и в то же время очень красиво. Она сама не знала, для чего так принарядилась.

Собиралась ли она выйти из дому? Нет.

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.

В сумерки она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходявшей окнами на дворик.

Она бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.

Так она дошла до скамьи.

Камень по-прежнему лежал на ней.

Она села и положила нежную белую руку на камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.

Вдруг ею овладело то непреодолимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.

Она повернула голову и встала.

Это был он.

Он стоял с непокрытой головой. Он был бледен и худ. В темноте едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.

Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.

Его шляпа лежала неподалеку на траве.

Козетта, близкая к обмороку, не вскрикнула. Она медленно отступала, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизмеримым и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.

Отступая, Козетта почувствовала за собой дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.

И тут она услышала его голос, каким он никогда ни с кем не говорил, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:

— Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Вы прочли то, что я положил на скамью? Вы узнаете меня? Не бойтесь. Помните тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени! Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиятора. А день, когда вы прошли мимо? Это было шестнадцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видела вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, — видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? А потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы — мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?

— Матушка! — промолвила она и, словно умирая, начала медленно склоняться долу.

Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, хотя сам шатался. Голова у него была, как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет церковный обряд и что он совершает святотатство. И все же он не испытывал вожделения к пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.

Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:

— Так вы меня любите?

Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:

— Молчи! Ты сам знаешь!

И спрятала покрасневшееся лицо на груди у гордого, упоенного счастьем юноши.

Он опустился на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды. Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зыбкой вершине холма загорается заря?

Один поцелуй — это было все.

Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.

Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.

Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!

Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.

Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.

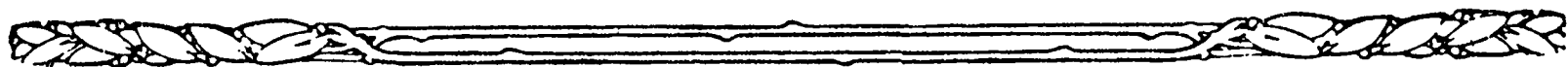
Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видеться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка — душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.

Когда они сказали все, она положила голову ему на плечо и спросила:

— Как вас зовут?

— Мариус. А вас?

— Козетта.



МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ

Глава первая

ЗЛАЯ ШАЛОСТЬ ВЕТРА

С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.

Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.

Отделалась — подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ — «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», — говорила мамаша.

Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.

Маньон — о ней речь шла выше — была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жиль-нормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы доброй славой перебить исходивший от нее дурной запах. Все помнят сильную эпи-

демию крупя, опустошившую тридцать пять лет назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день — одного утром, другого вечером — своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались, — того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперсе. В Париже, при переезде с одной улицы на другую, тождественность личности самой себе исчезает.

Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на содержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» — твердила ему Маньон.

Тенардье, для которого перевоплощения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва успели заметить, что у них два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.

Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает утрызения совести. Она сказала мужу: «Но

ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардые, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызения совести мать перешла к беспокойству: «А что если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардые: то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардые ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»

Маньон была модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с претензиями на роскошь, проживала опытная воровка — офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».

Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, они находились почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.

Так прошло несколько лет. Тетка Тенардые увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Хорошо, если б отец дал им образование».

И вдруг эти дети, до сих пор опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.

Арест целой шайки злодеев, что имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение — настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формой; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардые вызвала катастрофу с Маньон.

Однажды, вскоре после того, как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела облаву на улице Клошперсе; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захо-

телось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший мастерскую напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете,— сказал им башмачник.— Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».

Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указывать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченевшие пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперсе порыв ветра вырвал ее, а так как время близилось к ночи, ребенок не мог ее найти.

Они пустились блуждать по улицам наугад.

Глава вторая, **В КОТОРОЙ МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ ИЗВЛЕКАЕТ ВЫГОДУ ИЗ ВЕЛИКОГО НАПОЛЕОНА**

Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачающие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года — время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии страшная эпидемия,— ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.

С точки зрения метеорологической, особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И той весной разражались частые грозы с громом и молнией.

Однажды вечером, когда ветер дул с такой силой, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, замирая от восхищения, стоял перед парикмахерской близ Орм-Сен-Жер-

ве. Он был наряжен в женскую шерстяную, неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флерд'оранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом деле он наблюдал за парикмахерской, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».

Созерцая невесту и посматривая на кусок мыла, он бормотал:

— Во вторник... Нет, не во вторник... Разве во вторник?.. А может, и во вторник... Да, во вторник.

К чему относился этот монолог, так и осталось невыясненным.

Если он имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сегодня была пятница.

Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной цирюльне, время от времени искоса поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.

Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чисто одетые, один лет семи, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и, войдя в цирюльню, попросили чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба одновременно, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь.

— Только холоду зря напустили! — проворчал он.

Дети, плача, пошли дальше. Тем временем надвинулась туча, заморосил дождь.

Гаврош догнал их и спросил:

— Что с вами стряслось, птенцы?

— Мы не знаем, где нам спать, — ответил старший.

— Только-то? — удивился Гаврош. — Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Глупыши!

Сохраняя вид слегка насмешливого превосходства, он

принял снисходительно мягкий тон растроганного начальника:

— Пошли за мной, малявки.

— Хорошо, сударь,— сказал старший.

Двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.

Гаврош пошел по улице Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.

На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на цирюльню.

— Экий бесчувственный! Настоящая вобла! — бросил он.— Верно, англичанишка какой-нибудь.

Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом, из чего явствовало, что она относится к этой компании неуважительно.

— Здравствуйте, мамзель Для-всех! — приветствовал ее Гаврош.

Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:

— Я ошибся насчет той скотины: это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:

— Сударыня! Вы всегда выезжаете на собственной лошади?

И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.

— Шалопай! — крикнул взбешенный прохожий.

Гаврош высунул нос из своей шали.

— На кого изволите жаловаться?

— На тебя,— ответил прохожий.

— Контора закрыта,— выпалил Гаврош.— Я больше не принимаю жалоб.

Идя дальше, он заметил под воротами зачоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежке, что видны были ее колени. Она выросла из своих нарядов. Рост может сыграть злую шутку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.

— Бедняжка! — сказал Гаврош.— У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На, держи!

Размотав на шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.

Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуетсь больше на зло и не благодарит за добро.

— Бр-р-р! — застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.

При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильнее обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.

— Ах так? — воскликнул Гаврош. — Это еще что такое? Опять полил? Господи боже! Если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!

И он опять зашагал.

— Ну ничего, — прибавил он, взглянув на нищенку, съевшуюся под шалью, — у нее надежная шкурка. — И, взглянув на тучу, крикнул: — Вот тебя и провели!

Дети старались поспевать за ним.

Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, — это была булочная, ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, — Гаврош обернулся:

— Да, вот что, малыши, вы обедали?

— Мы с утра ничего не ели, сударь, — ответил старший.

— Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — с величественным видом спросил Гаврош.

— Извините, сударь, у нас есть и папа и мама, только мы не знаем, где они.

— Иной раз это лучше, чем знать, — заметил Гаврош — он был мыслителем.

— Вот уже два часа как мы идем, — продолжал старший, — мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.

— Знаю, — сказал Гаврош. — Собаки подобрали, они все пожирают.

И, помолчав, прибавил:

— Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Заблудиться, когда ты уже в летах! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.

Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья — что может быть проще?

Старший мальчуган, к которому почти вернулась свойственная детству беззаботность, воскликнул:

— Смешно! Ведь мама-то говорила, что в Вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой...

— Для порки, — закончил Гаврош.

— Моя мама, — начал снова старший, — настоящая дама, она живет с мамзель Мисс...

— Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, — подхватил Гаврош.

Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.

Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.

— Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.

Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:

— Продавец, на пять сантимов хлеба!

«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.

— Три куска, продавец! — крикнул Гаврош.

И прибавил с достоинством:

— Нас трое.

Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодуя крикнул булочнику прямо в лицо:

— Этшкое?

Тех из наших читателей, которые вообразили бы, что это русское или польское слово, или же воинственный клич, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу: «Это что такое?» Булочник это прекрасно понял и ответил:

— Как что? Это хлеб, очень даже хороший, хлеб второго сорта.

— Вы хотите сказать — железняк? — возразил Гаврош спокойно и холодно-негодующе. — Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.

Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.

— Эй вы, хлебопек! — сказал он. — Что это вы вздумали снимать с нас мерку?

Если бы их всех троих поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.

Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:

— Лопайте.

Мальчики с недоумением посмотрели на него.

Гаврош рассмеялся:

— А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли.— И, прибавив: — Ешьте,— он протянул каждому из них по куску хлеба.

Решив, что старший более достоин беседовать с ним, а потому заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он сказал, сунув ему самый большой кусок:

— Залепи-ка это себе в дуло.

Один кусок был меньше других; он взял его себе.

Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.

— Выйдем на улицу,— сказал Гаврош.

Они снова пошли по направлению к Бастилии.

Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.

— Ну не глупыши? — говорил Гаврош.

Потом задумчиво бормотал:

— Будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.

Когда они доели хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая, зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:

— А, это ты, Гаврош?

— А, это ты, Монпарнас? — ответил Гаврош.

К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.

— Вот так штука! — продолжал Гаврош.— Твоя хламида такого же цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки — точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!

— Тише! — одернул его Монпарнас.— Не ори так громко!

И оттащил Гавроша от освещенной витрины.

Двое малышей, держась за руки, машинально пошли за ними.

Когда они оказались под черным сводом ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:

— Знаешь, куда я иду?

— В монастырь Вознесение-Поневоле¹, — ответил Гаврош.

— Шутник! Я хочу разыскать Бабета, — продолжал Монпарнас.

— Ах, ее зовут Бабетой! — ухмыльнулся Гаврош.

Монпарнас понизил голос:

— Не она, а он.

— Ах, так это ты насчет Бабета?

— Да, насчет Бабета.

— Я думал, он попал в конверт.

— Он его распечатал, — ответил Монпарнас и поспешил рассказать мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».

Гаврош подивился его ловкости.

— Ну и мастак! — сказал он.

Монпарнас сообщил подробности побега, а в заключение сказал:

— Ты не думай, это еще не все!

Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.

— Ого! — сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. — Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.

Монпарнас подмигнул.

— Черт возьми! — воскликнул Гаврош. — Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?

— Как знать, — с равнодушным видом ответил Монпарнас, — булава никогда не помешает.

— Что же ты думаешь делать сегодня ночью?

Монпарнас снова напустил на себя важность и процедил сквозь зубы:

— Так, кое-что.

Затем, переменив разговор, воскликнул:

— Да, кстати!

— Ну?

— На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя шарю рукой в кармане, а там — ничего.

— Кроме проповеди, — добавил Гаврош.

¹ Эшафот. (Прим. автора.)

— Ну, а ты, — продолжал Монпарнас, — куда идешь?

Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:

— Иду укладывать спать этих ребят.

— Где же ты их уложишь?

— У себя.

— Где это у тебя?

— У себя.

— Значит, у тебя есть квартира?

— Есть.

— Где же это?

— В слоне, — ответил Гаврош.

Монпарнаса трудно было чем-нибудь удивить, но тут он невольно воскликнул:

— В слоне?

— Ну да, в слоне! — подтвердил Гаврош. — Штотуткоо?

Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» означает: «Что ж тут такого?»

Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.

— А в самом деле! — сказал он. — Слон так слон. А что, там удобно?

— Очень удобно, — ответил Гаврош. — Там, правда, отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.

— Как же ты тудаходишь?

— Так и вхожу.

— Значит, там есть лазейка? — спросил Монпарнас.

— Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.

— И ты взбираешься наверх? Так, понимаю.

— Простой фокус. Раз, два — и готово, тебя уже нет.

Помолчав, Гаврош добавил:

— Для этих малышей у меня найдется лестница.

Монпарнас расхохотался:

— Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?

— Это мне один цирюльник подарил на память, — не задумываясь, ответил Гаврош.

Вдруг Монпарнас задумался.

— Ты узнал меня слишком легко, — пробормотал он.

Вынув из кармана две маленькие штучки, попросту — две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.

— Это тебе к лицу, — сказал Гаврош, — сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Ходи так всегда.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был на-смешник.

— Без шуток,— сказал Монпарнас,— как ты меня находишь?

Голос тоже у него был теперь совсем другой.

В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.

— Покажи-ка нам Пет-р-рушку! — воскликнул Гаврош.

Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.

К сожалению, Монпарнас был озабочен.

Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:

— Слушай, парень, следи глазом: ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть,— так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не масленица.

Эта странная фраза произвела на мальчика должное впечатление. Он живо обернулся, внимательно оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось:

— Вон оно что!

Но он сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:

— Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае, если я тебе понадобится ночью, можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.

— Ладно,— молвил Монпарнас.

Они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, Гаврош — к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого в свою очередь тащил Гаврош, несколько раз обернулся, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звукосочетание *диг*, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог *диг* не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой *дог*, мой *даг* и мой *диг* — выражение на арготюремы Тампля, обозна-

чавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.

Лет двадцать тому назад, в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».

Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, а небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам, ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал — неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах рядом с невидимым призраком Бастилии.

Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном аргю салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный — безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груды мусора, который скоро выметут, и одновре-

менно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.

Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь — это стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.

Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но несомненно величественный и отмеченный печатью великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же, как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; люди начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Как бы там ни было, возвращаясь к площади Бастилии, мы можем сказать одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.

Печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска, был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и длинным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.

К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».

Да будет нам дозволено прервать здесь наш рассказ и напомнить, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение памятника.

Отметив этот факт, продолжаем.

Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:

— Птенцы, не бойтесь!

Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.

У забора лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош с неожиданной силой поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхо колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру.

— Взбирайтесь и входите, — сказал он.

Мальчики испуганно переглянулись.

— Вы боитесь, малыши! — вскричал Гаврош и прибавил: — Сейчас увидите.

Он обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.

— Ну вот, — крикнул он, — лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! — крикнул он старшему. — Я подам тебе руку.

Дети подталкивали друг друга. Гаврош внушал им не только страх, но и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелел. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его одного между лап огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел.

Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования — ученика или погонщик — мула:

— Не трусь!

— Так, правильно!

— Лезь же, лезь!

— Ставь ногу сюда!

— Руку туда!

— Смелей!

Когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.

— Попался! — сказал Гаврош.

Малыш проскочил в трещину.

— Теперь, — сказал Гаврош, — подожди меня. Сударь! Потрудитесь присесть.

Выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:

— Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе!

В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так, что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:

— Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет! После этого взрыва веселья он прибавил:

— Ну, карапузы, вы у меня дома!

Гаврош на самом деле был у себя дома.

О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжался над другим нищим — над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, нео-

быкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжащими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.

Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.

— Начнем вот с чего, — сказал Гаврош, — скажем привратнику, что нас нет дома.

Нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети слышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.

Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.

Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытывал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку или, еще точнее, что должен был испытать Иона в чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал перед ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям в углах можно было заметить большие, казавшиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими и пугливыми движениями.

Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.

Младший прижался к старшему и сказал вполголоса:

— Тут темно.

Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей действительно требовал некоторой встряски.

— Что вы мне голову морочите? — воскликнул он. — Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужен Тюильри? Ну не скоты ли вы после этого? Отве-

чайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!

Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.

Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему:

— Дуралей! — сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном. — Это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь не дует; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!

Дети смелее начали осматривать помещение, но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.

— Живо! — крикнул он и подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, называть «глубиной комнаты».

Там находилась его постель.

Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.

Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом — довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.

Три довольно длинные жерди, воткнутые — две спереди, одна сзади — в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто заброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.

Эта сетка и служила пологом.

Гаврош отодвинул в сторону камни, придерживавшие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.

— Ну, малыши, на четвереньки! — скомандовал Гаврош.

Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.

Все трое растянулись на циновке.

Дети, как ни были ни малы, не могли бы выпрямиться во

весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».

— Теперь, — сказал он, — дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.

— А это что такое, сударь? — спросил старший, показывая на сетку.

— Это от крыс, — важно ответил Гаврош. — Дрыхните!

Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение младенцам:

— Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.

Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего.

— Как хорошо! Как тепло! — пролепетал тот.

Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.

— Это тоже из Ботанического сада, — сказал он. — У обезьян забрал.

Указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, он сообщил:

— А это было у жирафа.

И, помолчав, продолжал:

— Все это принадлежало зверям. Я у них отобрал. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».

Снова помолчав, он заметил:

— Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.

Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но вместе с тем изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.

— Сударь! — робко сказал старший. — А разве вы не боитесь полицейских?

— Малыш! Говорят не «полицейские», а «фараоны»! — вот все, что ответил ему Гаврош.

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:

— Ну как? Хорошо тут?

— Очень! — ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.

Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.

— Кстати, — снова заговорил Гаврош, — почему это вы давеча плакали?

И, показав на младшего, продолжал:

— Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь — это совсем глупо; точь-в-точь теленок.

— Ну да! — ответил тот. — Ведь у нас не было квартиры, и некуда было деваться.

— Птенцы! — заметил Гаврош. — Говорят не «квартира», а «домовуха».

— А потом мы боялись остаться ночью одни.

— Говорят не «ночь», а «потьмуха».

— Благодарю вас, сударь, — ответил мальчуган.

— Послушай, — снова заговорил Гаврош, — никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду о вас заботиться. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определяю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. Затем мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем смотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Маре. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово развлечься!

В это время на палец Гавроша упала капля смолы; это вернуло его к действительности.

— А, черт! — воскликнул он. — Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может про-

биться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.

— А потом,— робко вставил старший, осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему,— уголек может упасть на солому, надо быть осторожнее, чтобы не сжечь дом.

— Говорят не «сжечь дом», а «подсушить мельницу», — поправил Гаврош.

Погода становилась все хуже. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.

— Обставили мы тебя, дождик! — сказал Гаврош. — Забавно слушать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дурковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.

Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что едва не слетела сетка, но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:

— Спокойно, ребята! Не толкайте наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.

После этого он привел в порядок сетку, подтолкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:

— Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать — это очень плохо. Будет разить из дыхания, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?

— Да,— прошептал старший,— мне хорошо. Под головой словно пух.

— Говорят не «голова», а «сорбонна»! — крикнул Гаврош. Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:

— Дрыхните!

И погасил фитилек.

Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим зву-

ком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.

Пятилетний малыш, услышав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:

— Сударь!

— Что? — спросил засыпавший Гаврош.

— А это что такое?

— Это крысы, — ответил Гаврош.

И снова опустил голову на циновку.

Действительно, крысы, сотнями обитавшие в остовах слона, — они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, — держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясом», бросились стоей на палатку Гавроша, взобрались на самую верхушку и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.

Между тем мальчуган не засыпал.

— Сударь! — снова заговорил он.

— Ну?

— А что такое — крысы?

— Это мыши.

Объяснение Гавроша успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:

— Сударь!

— Ну?

— Почему у вас нет кошки?

— У меня была кошка, — ответил Гаврош, — я ее сюда принес, но они ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.

— Сударь!

— Ну?

— А кого же это съели?

— Кошку.

— А кто съел кошку?

— Крысы.

— Мыши?

— Да, крысы.

Ребенок, удивившись, что здешние мыши едят кошек, продолжал:

— Сударь! Значит, такие мыши и нас могут съесть?

— Понятно! — ответил Гаврош.

Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:

— Не бойся! Они до нас не доберутся. И, кроме того, я здесь! На, держи мою руку. Молчи и дрыхни!

Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и успокоился. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, — трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего не слышали.

Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем налетал порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и в поисках ночных бродяг молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей бесприютных спящих детишек.

Чтобы понять все нижеследующее, не лишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.

На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, перебежал площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попутай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное представление о котором может дать следующее начертание:

— Кирикикиу!

На второй крик из брюха слона ответил звонкий, веселый детский голос:

— Здесь!

Почти тут же доска, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге

слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.

Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Спросишь господина Гавроша».

Услышав крик, он вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, открыл люк и спустился вниз.

Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас сказал кратко:

— Ты нам нужен. Поди, помоги нам.

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.

— Ладно, — сказал он.

Оба пошли по направлению к Сент-Антуанской улице, откуда появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную вереницу тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.

Сидевшие в тележках между грудями овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.

Глава третья

ПЕРИПЕТИИ ПОБЕГА

Вот что случилось в ту ночь в тюрьме Форс.

Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, уговорились о побеге. Бабет «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем снаружи.

Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, тщательно обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами».

В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как явствует из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.

Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе — гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.

Брюжон, о котором пора уже составить себе полное представление, несмотря на тщедушный вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смывленный, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был рожден его волей, улыбка — натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».

Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами — мосты и ступени на пути к свободе.

Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных преступников», как принято выражаться.

Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.

Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосто-

рожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.

Тенардье находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».

Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, — сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролежала дорожка дозорных тюрьмы Форс.

Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося за Беркеном.

Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, — то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба, — то была труба, проходившая через общие камеры.

«Вольный воздух», чердак Нового здания, представлял собой нечто вроде огромного сарая, разделенного на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если войти туда с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа — четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, — из железных брусьев.

Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.

Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всеми правдами и неправдами.

Итак, в ту ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кро-

вати. Мусор падал на кровать Брюжона, поэтому не было слышно стука. Ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной камерке с окошечком против камеры, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкая.

— Хороша потьмуха для вылета! — заметил Брюжон.

Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивает в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки наверху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.

Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.

Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.

Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать того, что кожа у них на ладонях была содрана.

В эту ночь Тенардье был предупрежден, — каким образом, выяснить не удалось, — и не спал.

Около часа пополудни, хотя ночь и была темным-темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца, против его камеры, промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большого ему не требовалось.

Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед

его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, — в те времена так полагалось, — входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Сторож с догами наведывался также два раза ночью.

Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, которым он загонял в одну из щелей в стене хлебный мякиш — чтобы, мол, «крысы его самого не сожрали». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то эту железку сочли не опасной. Однако позднее вспомнили, что один из сторожей сказал: «Лучше оставить ему какую-нибудь деревяшку».

В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, кроме того, что «пехтура»-часовой — совсем еще молокосос и что у него «глуповатый вид». Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею — другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере обнаружили еще полупустую бутылку с остатком одурманивающего снадобья, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез.

В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардье считали вне пределов досягаемости. На самом деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.

Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком кроток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.

Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас направо вы увидите грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранив-

шимся до сего времени; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червями перекладиной, напоминающей изогнутую полосу на геральдическом щите. Сквозь эти окна в былые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.

Площадку, образовавшуюся среди улицы на месте развалившегося дома, в одном месте перегораживал забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами. За ним притаилась хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.

На самом верху этой развалины и очутился Тенардье в три часа утра с минутами.

Как он сюда добрался? Этого никто не мог ни объяснить, ни понять. Молнии должны были и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но гребень стены представлял собой неровную зубчатую линию. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается загадочным. Одним ли способом, другим ли — все равно бегство казалось невозможным. Но воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого так и не узнали.

Не всегда можно понять, каким чудом осуществляется побег. Повторяем: человек, спасающийся бегством, вдохновлен свыше: свет неведомых звезд и зарниц указывает путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет

крыльев к небесам; об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»?»

Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в клочья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во весь рост, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.

Взятая им с собой веревка была слишком коротка.

Он лежал здесь бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа, — время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, на страшной глубине, мокрую мостовую, — желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.

Он спрашивал себя: удалось ли бежать трем его соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку по улице Сент-Антуан.

Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел; из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая на крышах. Наконец Тенардье увидел в стороне Бастилии белесый отсвет, зловеще высветливший край неба.

Он лежал, вытянувшись на стене шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола,

колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».

Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Не лишним будет заметить, что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует, что он погиб.

Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго.

Первый сказал тихо, но отчетливо:

— Шлепаем дальше, чего нам тутго маячить?

Второй отвечал:

— Этот дождь заплует самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыплемся туткайль.

Эти два слова *тутго* и *туткайль*, обозначавшие *тут* — первое на арго застав, второе — Тампля, были лучами света для Тенардье. По *тутго* он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по *туткайль* — Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль.

Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.

Тем временем в разговор вмешался третий.

— Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?

По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который был до того благовоспитан, что не пользовался ни одним из этих наречий, хотя понимал все.

Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.

Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

— Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукатурить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывести шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться, — тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!

Бабет, все на том же классическом аргю, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому, красочному и смелому аргю Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, сказал:

— Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже насадка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас: ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.

— Друзей в беде не оставляют, — проворчал Монпарнас.

— Я тебе звоню, что у него боль, — ответил Брюжон. — Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.

Монпарнас сопротивлялся слабо: действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, — был такой ливень, что все улицы опустели, — пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревога, поднявшаяся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх, — все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился до некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.

Он не осмеливался их позвать — если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжащий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.

Веревка упала к их ногам.

— Удавка! — сказал Бабет.

— Мой шнурочек! — подтвердил Брюжон.

— Трактирщик здесь, — заключил Монпарнас.

Они подняли глаза, Тенардье приподнял голову над стеной.

— Живо! — сказал Монпарнас. — Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

— Да.

— Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.

Тенардье отважился подать голос:

— Я промерз до костей.

— Согреешься.

— Я не могу шевельнуться.

— Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.

— У меня окоченели руки.

— Привяжи только веревку к стене.

— Я не могу.

— Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, — сказал Монпарнас.

— На третий этаж! — заметил Брюжон.

Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, впоследствии обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкая.

— Можно взобраться по ней, — сказал Монпарнас.

— По этой трубе? — вскричал Бабет. — Мужчине — никогда. Здесь нужен малек.

— Нужен малыш, — подтвердил Брюжон.

— Где бы найти ребятенка? — спросил Живоглот.

— Подождите, — сказал Монпарнас. — Я придумал.

Он приоткрыл калитку, удостоверился, что на улице никого нет, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.

Прошло минут семь-восемь — восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка наконец снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему пустынна.

Гаврош вошел и спокойно оглядел эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.

— Малыш! Мужчина ты или нет! — обратился к нему Живоглот.

Гаврош пожал плечами.

— Такой малыш, как я, — мужчина, а такие мужчины, как вы, — мелюзга, — ответил он.

— Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал Бабет.

— Пантенский малыш — не мокрая мышь, — добавил Брюжон.

— Ну? Что же вам нужно? — спросил Гаврош.

— Вскарabкаться по этой трубе, — ответил Монпарнас.

— С этой удавкой, — заметил Бабет.

— И прикрутить шнурок, — продолжал Брюжон.

— Кверху стены, — вставил Бабет.

— К перекладине в стекляшке, — прибавил Брюжон.

— А дальше? — спросил Гаврош.

— Все, — заключил Живоглот.

Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену, окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает: «Только-то?»

— Там наверху человек, надо его спасти, — сказал Монпарнас.

— Согласен? — спросил Брюжон.

— Дурачок! — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.

Живоглот подхватил Гавроша, поставил его на крышу лагути, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие щеки, заострившийся хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.

— Смотри-ка, — сказал он, — да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!

Взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.

Мгновенье спустя Тенардье был на улице.

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, ни усталости, ни холода, ни

страха как не бывало; все то ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный, дикий ум пробудился и, почуяв свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.

Вот каковы были первые слова этого человека:

— Кого мы теперь будем есть?

Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего: убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть — это пожирать.

— Надо смываться, — сказал Брюжон. — Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме: улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.

— Отлично! Почему же нет? — спросил Тенардьё.

— Твоя дочка Эпониная ходила туда, — ответил Бабет.

— И принесла сухарь Маньон, — прибавил Живоглот. — Там делать нечего.

— Дочка не дура, — заметил Тенардьё. — А все-таки надо посмотреть.

— Да, да, — сказал Брюжон, — надо посмотреть.

Никто уже не обращал внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:

— Ну, все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать ребят.

И он ушел.

Пять человек вышли один за другим из ограды.

Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардьё в сторону.

— Ты разглядел этого малька?

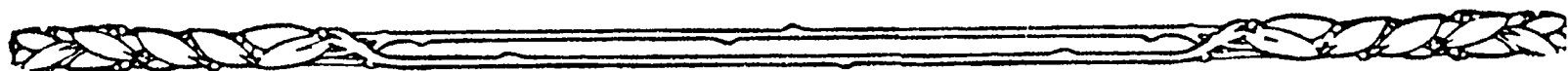
— Какого малька?

— Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?

— Плохо.

— Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.

— Ты так думаешь? — спросил Тенардьё.



АРГО

Глава первая

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

*Pigritia*¹ — страшное слово.

Оно породило целый мир — *la pегге*, читайте: воровство, и целый ад — *la pегреппе*, читайте: голод.

Таким образом, лень — это мать.

У нее сын — воровство и дочь — голод.

Где мы теперь? В сфере аргю.

Что же такое аргю? Это и национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами — народа и языка.

Когда тридцать четыре года назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в одно из своих произведений², написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на аргю, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Аргю? Не может быть! Но ведь аргю ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.

Мы никогда не понимали возражений такого рода.

Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смертной казни», снова раздались вопли. Повторяли: «Зачем оскорбляют наш слух писатели этим возмутительным наречием? Аргю омерзительно! Аргю приводит в содрогание!»

Кто же это отрицает? Конечно, это так.

¹ Лень (лат.).

² «Последний день приговоренного к смерти». (Прим. автора.)

Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна считается предосудительным? Мы всегда считали это проявлением мужества, во всяком случае, делом полезным и достойным сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.

Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность животрепещущим это презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, — все это задача и не привлекательная и не легкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение аргю. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую, взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует, чтобы ее вновь погрузили во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое — на потухший, залитый кровью глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.

Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от аргю, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо аргю, — да будет известно тем, кто этого не знает, — явление литературное и вместе с тем следствие определенного общественного строя. Что же такое аргю в собственном смысле? Аргю — это язык нищеты.

Здесь нас могут прервать; могут дать более широкое толкование приведенному факту, что иногда является средством уменьшить его значительность; нам могут сказать, что

все ремесла, все профессии — к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления — имеют свое аргю. Торговец, который говорит: *Монпелье наличный, Марсель хорошего качества*; биржевой маклер, говорящий: *играю на повышение, страховая премия, текущий счет*; игрок, который говорит: *хожу по всем, пика бита*; пристав на Нормандских островах, говорящий: *съемищик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика*; водевилист, заявляющий: *пьесу освистали*; актер, сказавший: *я провалился*; философ, который сказал: *тройственность явления*; охотник, говорящий: *красная дичь, столовая дичь*; френолог, сказавший: *гружелюбие, войнолюбие, тайнолюбие*; пехотинец, именующий ружье *кларнетом*, который называет своего коня *индюшонком*; учитель фехтования, кавалерист, говорящий: *терция, кварта, выпад*; типограф, сказавший: *набор на шпонах*, — все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на аргю. Живописец, который говорит: *мой мазилка*, нотариус, который говорит: *мой попрыгун*, парикмахер, который говорит: *мой подручный*, сапожник, который говорит: *мой подпомощник*, говорят на аргю. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат аргю: у матроса — *штурборт* и *бакборт*, у театрального директора — *двор* и *сад*, у причетника — *апостольская* и *евангельская*. Есть аргю модниц, как было аргю жеманниц. Особенно Рамбулье кое-где граничит с Двором чудес. Есть аргю герцогинь — свидетельством этого является фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».

Дипломатические шифры также составлены на аргю: папская канцелярия, употребляющая цифру «26» вместо «Рим», *grkztntgzyal* вместо отправка и *abfxustgrnogrkzu tu XI* вместо герцог Могенский, говорит на аргю. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: *oroponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum*, говорили на аргю. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: *сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жженка, бастер, кусковой, пиленый*, изъясняется на аргю. Известное направление в критике, двадцать лет назад утверждавшее: Полови-

на Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров, говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно верно определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академик-классик, называющий цветы *Флорой*, плоды *Помоной*, море *Нептуном*, любовь *огнем в крови*, красоту *прелестями*, лошадь *скакуном*, белую или трехцветную кокарду *розою Беллоны*, треуголку *треугольником Марса*, — это академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, живописный, достигающий совершенства, язык, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпери, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, — это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты — то же, что лев перед шакалом.

Все это так. Но что бы ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Мы же сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова сочетаются, существующее с незапамятных времен и представлявшее собой целое царство, есть, повторяем, не что иное, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучий и господствующих прав, — в борьбу страшную, где, применяя то хитрость, то насилие, немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы — арго.

Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, — это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Умышленно или неумышленно Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских

воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский — в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но аргго? Какая необходимость в аргго? Зачем вытаскивать на свет божий аргго?»

На все это мы ответим одно. Если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения — это язык, на котором говорила нищета.

Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.

И затем, — мы на этом настаиваем, — изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, — это не та работа, где можно выбирать. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного — поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции — все, что совершается при свете дня, вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому неведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые, как должное, подземные толчки, отразившие закон, тайное перерождение душ, едва различимое содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных — все эти призраки, бродящие во тьме. Ему надлежит нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости, до самых непроницаемых казематов, где вперемешку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинаят, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто является жертвою зла, и тот, кто его творит. Разве у историков сердец и душ меньше обязанностей, чем у историков внешних событий? Разве Данте нужно было сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хо-

рошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?

Из вышесказанного могут заключить, что между двумя категориями историков есть большое различие; на наш взгляд, его не существует. Нельзя быть хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза, открытой, если ты вместе с тем не являешься историком скрытой жизни его недр; нельзя быть хорошим историком внутреннего бытия, если ты не сумеешь стать каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана ею. Это два порядка разных явлений, соответствующих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое загадочное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и потому настоящий историк должен вмешиваться во все.

Человек — это не круг с одним центром; это эллипс с двумя средоточиями. События — одно из них, идеи — другое.

Арго — не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Так он становится страшен.

Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов выйти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес, — костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами — всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается — двойственное движение пресмыкающегося. Он может сыграть любую роль: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.

Если подойти к дверям общества с той стороны, где обретаются честные люди, то можно услышать разговор тех, кто за дверями. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хотя и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это — арго. Слова его уродливы и от-

мечены какой-то фантастической животностью. Кажется, что слышишь говорящих гидр.

Это — непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкой. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую — преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба; он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, — в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.

Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы, мы сами? Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?

Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.

Вы тот, кто зовется счастливецом? Нет, вы каждый день грустите. Каждому дню — своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня вы боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим — несчастье друга; потом дурная погода, потом разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иногда вас беспокоит положение государственных дел. Все это не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то над ними ночь, беспросветная ночь.

Незрелые умы пользуются выражением: счастливцы и несчастные. В этом мире, по-видимому, являющемся преддверием иного, нет счастливцев.

Правильное разделение людей таково: осиянные светом и пребывающие во мраке.

Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных — такова цель. Вот почему мы кричим: «Обу-

чения! Знания!» Научить читать — это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.

Впрочем, сказать: «свет» не всегда значит сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя — враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, — это и есть чудо гения.

Когда вы познаете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Осиянные светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.

Глава вторая

КОРНИ

Арго — язык пребывающих во мраке.

Это загадочное наречие, позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто еще дымятся. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.

Но несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позелевшего лиара, так и для золотой медали, и которое именуется литературой. У арго — можете с этим соглашаться или не соглашаться — есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.

Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:

*Mais ou sont les neiges d'antan?*¹

написана на арго. *Antan* — *ante annum* — слово из арго Двора чудес, обозначающее *прошедший год* и, в более широком

¹ Но где снега минувших лет? (франц.)

смысле, *когда-то*. Тридцать лет назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: *Les dabs d'antan trimaient siempre pour la pierre du coësre*. Иными словами: *Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию*. Для этого «короля» каторга и была «коронацией».

Слово *decarade*, обозначающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и оно достойно его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономотопеей в изумительном стихе Лафонтена:

Six forts chevaux tiraient un coche¹.

С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование может быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового дерева. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский — этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в трех его разновидностях — романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, — латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая, причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных и возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.

Не уютно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот *boffette* — пощечина, происшедшее от *bofeton*; *vantane* — окно (позднее — *vanterne*,) от *ventana*; *gat* —

¹ Шесть крепких лошадей тащили экипаж (франц.).

кошка, от *gato*; *acite* — масло, от *aseyte*. Не угодно ли итальянского? Вот *spade* — шпага, происшедшее от *spada*; *carvel* — судно, от *caravella*. Не угодно ли английского? Вот *bichot* — епископ, происшедшее от *bishop*; *raille* — шпион, от *rascal*, *rascalion* — негодяй; *pilche* — футляр, от *pilcher* — ножны. Не угодно ли немецкого? Вот *caleur* — слуга, от *Kellner*; *hers* — хозяин, от *Herzog* — герцог. Не угодно ли латинского? Вот *frangir* — ломать, от *frangere*; *affurer* — воровать, от *fur*; *cadene* — цепь, от *catena*. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти: это слово *magnus* — великий; Шотландия сделала из него *mac*, обозначающее главу клана: Мак-Фарлейн, Мак-Калламор — великий Фарлейн, великий Калламор¹; арго сделало из него *mesck*; а позднее *teg*, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот *gahisto* — дьявол, от *gaiztoa* — злой; *sorgabon* — доброй ночи, от *gabon* — добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот *blavin* — носовой платок, от *blavet* — брызжущая вода; *menesse* — женщина (в дурном смысле), от *meines* — полный камней; *barant* — ручей, от *baranton* — фонтан; *goffeur* — слесарь, от *goff* — кузнец; *guedouze* — смерть, от *guenn-du*, белое-черное. Не угодно, ли наконец, истории? Арго называет экую мальтийка, в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.

Кроме филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, разумом человека.

Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна создания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка — то, что можно было бы назвать его строительным гранитом. Арго кишит словами такого рода, словами стихийными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, — словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач — *кат*; лес — *оксим*; страх, бегство — *плёт*; лакей — *лакуза*, генерал, префект, министр — *ковруг*, дьявол — *gedер*. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают и обнаруживают. Некоторые, например *gedер*, гротескны и страшны и производят на вас впечатление гримасы циклопа.

Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хо-

¹ Однако следует заметить, что по-кельтски *mac* значит сын. (Прим. автора.).

чет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора — загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиомы более метафорической, чем арго. *Отвинтить орех* — свернуть шею; *хрястать* — есть; *венчаться* — быть судимым; крыса — тот, кто ворует хлеб; *алебардит* — идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя сомкнутому строю наклоненных пик ландскнехтов и уместающая в одном слове народную метонимию: *дождит алебардами*. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком, первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть *дегером* и становится *пекарем*, — тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля, Еврипиду после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантазмагории. *Потьмушники мозгуют стырить клятuru пог месяцем* (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видеть видишь, но что это такое — не ведаешь.

В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него наудачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко, с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго, оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры: *Кэб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму* — собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. *Фраер* — балбень, *фраерша* — клевая, а *баруля фартовая* — хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание *айль*, *орг*, *ерг* или *юш*. Так: *Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг?* — находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, удовлетворяет ли его сумма, предложенная за побег. Окончание *мар* стали прибавлять сравнительно недавно.

Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается

и само. Кроме того, стараясь скрыть свою сущность, оно, только-только почувствовав, что оно разгадано, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь; это безвестная, проворная, никогда не прекращающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык — за десять столетий. Таким образом *larton*, хлеб, становится *lartif*; *gail*, лошадь, — *gaye*; *fertanche*, солома, — *fertille*; *tomignard*, малыш, — *tomacqe*; *fiques*, одежда, — *frusques*; *chique*, церковь, — *ergugeoir*; *colabre*, шея, — *colas*. Дьявол сначала хаушень, потом *geger*, потом пекарь; священник — скребок, потом кабан; кинжал — *двадцать два*, потом перо, потом булавка; полицейские — кочерги, потом жеребцы, потом рыжие, потом продавцы силков, потом легавые, потом фараоны; палач — *гядя*, потом Шарло, потом кат, потом костыльщик. В XVII веке бить — угощать табаком, а в XIX — натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша Ласнеру показался бы китайской грамотой. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.

Однако время от времени, именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго XVII века; Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на *анш* старых подданных этого царства. Ты *пъёанш*? (ты пьешь?) Он *верианш* (он верит). Но вечное движение не перестает оставаться его законом.

Если философу удастся удержать на мгновение этот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Нет исследования более действенного, плодотворного и поучительного. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. У этих людей *бить* — значит *прикидываться*; *они бьют болезнь* — *прикидываются больными*: их сила — хитрость.

Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — *потьмуха*; человек — *тёмник*. Человек — производное от ночи.

Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу; о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — *больной*; человек осужденный — *мертвый*.

Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу *чистая*. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удастся перепилить кандалы, первая его мысль — о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу *скрипка*. Имя — это *сердцевина*; многозначительное уподобление! У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных деяниях, он называет *сорбонной*, другую, которой он платится, *отрубком*. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце — ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом *gueux* — нищий, то он готов на преступление, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями — нуждой и злобой; поэтому аргю не говорит *gueux*, оно говорит *reguise* — наостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется *хворость*. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? *Академия*. Целая исправительная система может родиться из одного слова.

У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, — вы, я, любой прохожий: *pantre*. (*Pan* — все люди.)

Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях *lirlonfa*?¹ Так вот, послушайте.

В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плиты пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки на некотором расстоянии одна от другой

¹ *Lirlonfa* — свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни.

свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, на дрожащих, подкашивающихся ногах, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и просыпаясь каждую минуту, удушьяемые ошейником. Иные из них уже не просыпались. Чтобы поесть, они, при помощи ступни одной ноги, поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах, при приближении галеры, сначала слышали песню, а уж потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: *Только рифмы меня и поддерживали*. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхолический припев галеры Монгомери: *Тималумизен, тимуламизон*. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна песенка — нежная:

Туткайль театр
Малютки стрелка¹.

Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца — любовь.

В этом мире темных дел один хранит тайну другого. Тай-

¹ Купидона. (Прим. автора.).

на — общая собственность. Тайна для этих отверженных — связь, являющаяся основой их союза. Открыть тайну — значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести, на энергичном языке аргю, обозначает *съесть кусок*. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.

Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: *засветить тридцать шесть свечей*. Здесь аргю вмешивается и добавляет: свеча — это *камуфля*. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним — *камуфлет*. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, аргю поднялось из пещеры до академии. Пулайе сказал: *«Я зажигаю мою камуфлю»*, а Вольтер писал: *Ланглевель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов*.

Раскопки в аргю — это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклеянных проклятием.

Аргю — это слово, ставшее каторжником.

Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.

О, бедная мысль отверженных!

Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее удел — вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, пасть, изрыгающую пену, змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна оставаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое как будто уже учуяло ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?

АРГО ПЛАЧУЩЕЕ И АРГО СМЕЮЩЕЕСЯ

Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века назад, так и арго современное, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль нищих Двора чудес, которые употребляли для игры особые колоды карт; некоторые из этих карт дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками — род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, отмечена печатью бессилия и подавленности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется *бедным вором*, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: *«Je n'entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses tomes et ses tomignards et les locher cribland sans etre atige lui-meme»*¹. Отверженный, всякий раз, когда у него есть время подумать, осознает, как он ничтожен перед лицом закона и незначителен перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.

В середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевки воров приобрели, так сказать, дерзкие, разудалые ухватки. Жалобный припев *малюре* заменился *ларифла*. В XVIII веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская, загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный, подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:

¹ Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. (Прим. автора.)

Мирлабаби, сюрлабабо,
Мирлитон рибон рибет.
Сюрлабаби, мирлабабо,
Мирлитон рибон рибо.

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребу или в лесной глуши.

Это серьезный симптом. В XVIII веке стародавняя печаль этих утрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога и великого короля. В царствовании Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, точно совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это признак того, что они теряют сознание своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей неведомую им самим поддержку. Это признак того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро надевая им доктрины и софизмы. Наконец это признак, — если только не возникает какой-нибудь помехи, — близкого и пышного их расцвета.

Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? XVIII век? Его философию? Конечно, нет. Дело XVIII века — доброе и полезное дело. Энциклопедисты с Дидро во главе, физиократы с Тюрго во главе, философы с Вольтером во главе, утописты с Руссо во главе, — это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, — их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро — к прекрасному, Тюрго — к полезному, Вольтер — к истинному, Руссо — к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты — ядовитая поросль, присосавшаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывавшую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, опекавшихся одним принцем, — забавная подробность! — числятся в *Тайной библиотеке*. Эти важные, но неизвестные факты остались незамеченными на поверхности. Порою именно самая тьма, окутывающая факт, уже го-

ворит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею.

Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии большие опустошения, чем где бы то ни было. В Германии, в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме *Разбойники*, воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, на поверхности благовидные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготавивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева. В то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, — в одном и в другом случае глаза у них закрыты, — ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!

Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные *жакериями*, рядом с которыми чисто политические волнения — детская игра. Это уже не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.

Жакерии — это вулканические толчки в недрах народа.

Именно такой опасности, быть может, неизбежной для Европы конца XVIII века, поставила предел французская революция — этот огромный акт человеческой честности.

Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.

Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ. Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу — право.

XIX век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает!

Глупец, кто ее страшится! Революция — это прививка против жакерии.

Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бактерий феодализма и монархии. Нет больше средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда земля разверзлась, когда свод пещер рушился — и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.

Революционное чувство — чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон — это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции, достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует, тот царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вождедений; отсюда героически опущенные перед соблазном глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс — это «Смерть вора!». Прогресс — честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В одном из этих фургонов, ящиков, едва закрытых и даже полуоткрытых, среди сотни сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.

Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище больше не устрашает. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.

ДВА ДОЛГА: БОДРСТВОВАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ

Но рассеялась ли при этом всякая социальная опасность? Конечно, нет. Жакерия не существует. Общество может быть спокойно, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как ему следует дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.

Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.

Будем же повторять неустанно: прежде всего нужно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать их, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но не праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатство, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы — для всех способностей и училища — для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, — одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность — пусть человеколюбивые души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость — пусть эгоистичные сердца об этом знают.

Однако — это только начало. Задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.

Мы не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.

Если природа называется провидением, общество должно называться предвиденьем.

Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание — это напутствие, мысль — первая необходимость, истина — пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеет же и желудки и умы, лишенные пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.

Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря подъему общего уровня.

Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.

Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошрое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец — завоеватель. Оно идет со своим воинством — суевериями, со своей шпагой — деспотизмом, со своим знаменем — невежеством; оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у дверей. Не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.

Мы верим — чего же нам опасаться?

Идеи не текут вспять, так же как и реки.

Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к тяжелой болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказать от Завтра: умереть.

Мы же хотим, чтобы тело умерло как можно позже, а душа — никогда.

Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия — явление, predetermined небом.

Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она не очень пугается тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решения из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную став-

ку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.

А пока — никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.

Мы видели не раз, как рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей: история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган, и уносит с собой все — обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все эти вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут — значит дали течь; нам больше нечего сказать; и мы растерянно смотрим, как в глубине моря, которое именуется «прошлым», за огромными волнами — веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли — Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там — мрак, а здесь — ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы применяем зонд, и когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарств. Наша цивилизация, работа двадцати веков, и чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение — это уже много; дать ей свет — это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть сведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя — выслушать легкие и сердце цивилизации.

Повторяем: такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц — суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны — кратеры и лишай —

серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает лаву; болезни народа не убивают человека.

И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.

Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов — предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных — вожделение, зависть, ненависть при виде наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.

Следует ли еще устремлять взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II. КОЗЕТТА

Перевод Н. Коган

<i>Книга шестая. МАЛЫЙ ПИКПЮС</i>	7
<i>Книга седьмая. В СКОБКАХ</i>	37
<i>Книга восьмая. КЛАДБИЩА БЕРУТ ТО, ЧТО ИМ ДАЮТ</i>	51

Часть III. МАРИУС

Перевод Н. Эфрос

<i>Книга первая. ПАРИЖ, ИЗУЧАЕМЫЙ ПО ЕГО АТОМУ</i>	101
<i>Книга вторая. ВАЖНЫЙ БУРЖУА</i>	123
<i>Книга третья. ДЕД И ВНУК</i>	134
<i>Книга четвертая. ДРУЗЬЯ АЗБУКИ</i>	171
<i>Книга пятая. ПРЕИМУЩЕСТВО НЕСЧАСТЬЯ</i>	205
<i>Книга шестая. ВСТРЕЧА ДВУХ ЗВЕЗД</i>	225
<i>Книга седьмая. ПЕТУШИНЫЙ ЧАС</i>	243
<i>Книга восьмая. КОВАРНЫЙ БЕДНЯК</i>	252

Часть IV. ИДИЛЛИЯ УЛИЦЫ ПЛЮМЕ И ЭПОПЕЯ УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ

Перевод К. Локса

<i>Книга первая. НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИСТОРИИ</i>	339
<i>Книга вторая. ЭПОНИНА</i>	375
<i>Книга третья. ДОМ НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ</i>	392
<i>Книга четвертая. ПОМОЩЬ СНИЗУ МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОЩЬЮ СВЫШЕ</i>	427
<i>Книга пятая, КОНЕЦ КОТОРОЙ НЕ ПОХОЖ НА НА- ЧАЛО</i>	437
<i>Книга шестая. МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ</i>	453
<i>Книга седьмая. АРГО</i>	488

Виктор Гюго

ОТВЕРЖЕННЫЕ

роман

Части вторая — четвертая

Ответственный за выпуск С. Потапенко. Технический редактор Н. Кленова.
Корректоры М. Соколова, И. Лукьяненко. Сдано в набор 20.08.93. Под-
писано к печати 17.09.93. Формат 84×108/32. Бумага типографская
№ 2 Сыктывкарского ЛПК. Печать высокая. Гарнитура «Балти-
ка». Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 31,5. Тираж 50000 экз.
Заказ №1922.С 086. ТОО «Сантакс», 300040, г. Тула, ул.
Ложевая, 141 (ЛР № 062911 от 05.08.93). Оригинал-
макет подготовлен А/О «Репроникс Лтд.»,
300600, г. Тула, Красноармейский пр., 48,
корп. 2. Областная ордена «Знак По-
чета» типография им. Смирно-
ва, 214000, г. Смоленск,
проспект им. Ю. Гага-
рина, 2.



